

ПЕТР АЛЕКСЕЕВСКИЙ

О. САВВАТИЙ

(ДОРОГАМИ ДЕТСТВА)

ПОВЕСТВОВАНИЕ О СОБЫТИЯХ
ИЗ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СРЕДИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ НА АЛТАЕ



Издательство «Глобус»
Сан Франциско
1983

ПЕТР АЛЕКСЕЕВСКИЙ

О. САВВАТИЙ

(ДОРОГАМИ ДЕТСТВА)

**Повествование о событиях из старообрядческой жизни
средины XIX столетия на Алтае.**



**Издательство «Глобус»
Сан Франциско
1983**

PETR ALEXEEVSKY

OTETS SAVVATII
Dorogami detstva

FATHER SAVVATII
Roads of youth

**Recollections of life among oldbelievers
in Altay Mountains (XIX century)**

Copyright 1983 by Globus Publishers.

Library of Congress Catalog Card Number: 82-082142

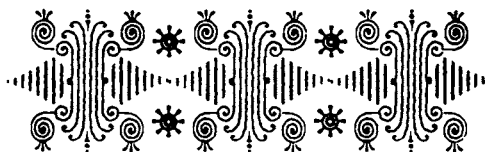
ISBN 0-88669-062-5

All Rights Reserved. No part of this publication may be translated, reprinted, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Globus Publishers

Printed in United States of America.



**Globus Publishers, P. O. Box 27471
San Francisco, CA 94127. U.S.A. Tel. (415) 668-4723**



Ап. Иоанн:

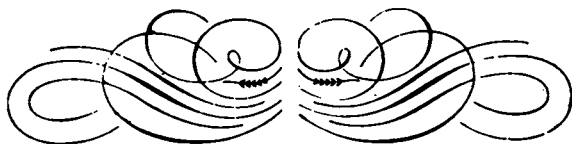
Дух дышит, где хочет... 3,8

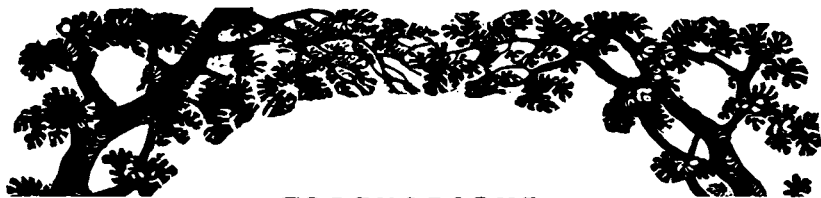
**Вы судите по плоти; Я не сужу
никого. 8,15.**

**И если кто услышит Мои слова и
не поверит, Я не сужу его... 12,47.**

Ап. Павел:

**Если враг твой голоден,
накорми его. 12,20. Римл.**





ПРЕДИСЛОВИЕ

Алтай — страна высоких гор, обширных ковыльных степей, могучих сосновых боров, березовых колков, лиственничных, кедровых, пихтовых лесов, полноводных и быстротечных, мятущихся из стороны в сторону горных рек, спокойных и задумчивых степных речушек. Разольется такая речушка в весеннее половодье или в проливные дожди вширь и вдаль насколько хватает глаз и задумается: течь ли ей дальше или не течь? Да так и высохнет, не решив задачи.

Обильна страна эта и озерами — крупными, мелкими и совсем крошечными, солеными и пресноводными, украшающими равнинную часть ее голубыми узорами.

Сейчас населяют Алтай в большинстве своем новые переселенцы, мало чем отличающиеся от основного российского контингента, люди. В то же время, к которому относится повествование наше, населяли равнинную и предгорную часть его коренные, пришедшие сюда еще по живым следам славного казака, Ермака Тимофеевича, из северных великорусских областей поселенцы — люди старого церковного обряда, преимущественно светловолосые, голубоглазые, в высшей степени трудолюбивые и организованные.

В этот-то вот край, именовавшийся тогда «Округом Кабинетских земель», отец мой был послан в конце прошлого столетия, когда мне не было еще и двух лет, на работу по организации там народного образования. Приехав туда и оглядевшись, полюбил он тамошнюю жизнь, природу, проникся уважением к местному люду, погрузился в работу не только по насаждению народного образования, но и по изучению природы, быта коренного населения, тамошней народной старины, фольклористики.

По степени того, как я подрастал, отец много ездивший по округу, стал брать меня с собой; особенно в летнюю пору.

Это один источник познания моего Алтайской природы и бытия старообрядческого. Но были и другие.

По достижении мною девятилетнего возраста, на моем раннем жизненном пути появился недюжинный рассказчик по имени Сисой Митрич, а по вере старообрядец, исходивший в свое

время горные и степные пределы Алтая вдоль и поперек; и заканчивавший земное поприще свое в сторожке школы, притом школы не старообрядческой, а мирской, никонианской. Я сразу потянулся к нему. Отец не препятствовал общению моему со старцем этим, а равно и не возбранял брать из библиотеки его книг и давать их старцу для прочтения.

На сей почве и завязались, продолжавшиеся более двух лет, общения мои со старцем Сисоем. Я был полезен ему тем, что мог доставать книги, к чтению которых старец пристрастился на исходе лет; он же привлекал меня рассказами о похождениях по Алтаю. Встречались мы с ним, под разговоры окружающих о Японской войне, затем о студенческих бунтах в Томске, воскресными вечерами да рождественскими святками. Спрашивался я обычно у родителей, брал книгу, пробиравлся среди сугробов снега в школьную сторожку; благо до нее было рукой подать. Там происходили примерно такие сцены.

Сисой Митрич встречает меня, здоровается, усаживает на табурет, шурит левый глаз, а правым, черным, как смоль, сверлит детское лицо мое. Я вынимаю из-за пазухи и подаю ему книгу, глядя снизу вверх в черный глаз его.

— Тургенев... Записки охотника... — читает он бегло, приняв книгу; переглядев картинки в ней и заметив, что я продолжаю сидеть в той же позе, спрашивает:

— Чесо заради мешкаешь, отроче?

Отвечаю, что сижу в надежде послушать продолжение сказа его.

— Надежда юношев питает. Тако сказывает пиит един. Читал? Нет? Прочтешь ешшо в жизни своей. Реку аз ти, промежду протчим, не сказ альбо вымысел какой, но был стародавнюю, про подвижника Божия и крепкого стоятеля в вере отцов. Не то, што аз грешной и смрадной слуга сатаны... Да не пужайси имени яво. Энто я такожде. Сбрехнул понуесту. Слуга же аз есмь не сатаны, а Господа Бога, — бормочет старец, видимо, в раздражении, что жизнь доводится заканчивать не в духовном сани, как мечтал, а в звании сторожа, да еще никонианской школы, обмирщиться на старости лет.

Избыв раздражение в обильном оснащении речи славянизмами, Сисой Митрич замолкает. Я тоже помалкиваю, ибо знаю по опыту, ежели буду в сем его раздражении докучать, то он не станет ничего рассказывать и выпроводит меня вон. А послушать продолжение сказа хочется; тем более, что прервал он его в прошлый раз на интересном месте — на стенаниях злого духа у могилы помершего в степи бродяги. Решаю продвигаться к желанной цели не прямым путем, а обходным — сползаю с табурета и направляюсь к двери.

— Амо гредеше, отроче? — спрашивает он, выходя из задумчивости.

— Домой, дедушка, коли тебе нечего рассказать, — отвечаю.

Маневр удается: упрек ударяет старца по самолюбию, он водворяет меня на прежнее место, убавляет огня в стоящей на светце керосиновой лампе, усаживается на лежанку и начинает сказ. Ведет он его общепринятым сибирским диалектом, но в патетических местах приправляет его обильными славянизмами, вероятно, полагая, что так будет и солиднее и доходчивее.

Слушания рассказов старца чередуются с рождественскими праздничными увеселениями, с приемами бродящих по домам целых две недели христославщиков, ряженных.

За рождественскими колядками, новогодними авсенями, крещенскими норданами настает масленица — волшебница из волшебниц, какую только знает русский народный быт. По улицам начинают носиться всадники, запряжки, тройки, к вечеру — литься разлитым морем, но так, чтобы не видели жены, зелено вино. А по вечерам громоздятся по столам домов пирамиды воздушных блинов, шанежек, сырников и прочей снеди на базе творога, сметаны, масла.

Еще один немаловажный источник в познании моем Алтайского края и старообрядческого быта — личные поездки по Алтаю в тридцатых годах нынешнего столетия по делам исследования водных ресурсов степных и горных алтайских рек. Исследования эти начинались с изучения гидрологии района, его экономики, быта по метеорологическим сводкам, по историческим документам — дореволюционным архивным сборникам Губернских Ведомостей, статистическим обзором. По ходу изучения архивов, не обминули меня знакомством разные жандармские да полицейские донесения, вроде рапорта ротмистра фон Перетц об экспедиции в середине девятнадцатого столетия вооруженной команды по Кулундинским степям, представления Синоду тамошних архиереев о церковной жизни в крае, о раскольнической деятельности некоторых старообрядческих учителей.





ДОРОГАМИ ДЕТСТВА



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Твои образы простые:
Горы, доли тенивые,
Буйной степи изумруд
Со мной в памяти живут.

На берегу небольшого степного озера костер. Густой дым от него не стелется по земле, как следовало бы для отпугивания комаров, а столбом восходит к небу.

От озера на север стена Кулундинского бора, на юг — море изумрудных весенних трав Кулундинской степи.

Сейчас степь эта заселена и распахана, а в то время, к которому относится повествование, лежала она нетронутой, пустопорожней. Редкие чалдонские селения ютились по ней лишь вдоль кромок вытянутых с севера на юг сосновых леяточных боров. Тому же направлению подчинены пологие, метров 40-60 в высоту гряды, по местному гривы, членящие степь на увлажненные и засушливые зоны.

Рядом с костром жердяной, островерхий, крытый дерниной шалаш. На обрубке в тени кудрявой березы служитель старообрядческой церкви, отец Савватий. На нем, однако, не подрясник, а длинная крестьянская пестрядиновая рубаха и такие же портки ради конспирации. Светлорусые волосы его из тех же соображений доходят ему лишь до плеч, как это часто можно видеть здесь у обыкновенных крестьян; широкая и густая, тоже светлая, борода закрывает ему всю грудь. Ростом он высок, сложением могуч; расстегнутый косой ворот рубахи показывает сквозь проборы бороды сильную загорелую шею, тяжёлый бронзовый крест и дароносицу; подвернутые до локтя косые рукава выставляют наружу не руки, а рычаги бронзовые; обутые в добротные сапоги тумбы ног как бы уходят в землю.



В общем, сидящий на берегу озера и устремивший взор голубых лучистых глаз на заозерье человек напоминает не священника, а былинного чудо-богатыря. Рядом с богатырем этим березовая палица с суковатым, наподобие булавы, набалдашиником, способным раздробить в богатырских руках голову всякому, дерзнувшему напасть, зверю.

Под той же березой лежит, растянувшись на земле, другой человек, по имени и фамилии Сисой Седых, а по прозвищу Цыганок. Он и впрямь напоминает цыгана: волосы и борода у него как смоль, глаза жгуче-черные, тело смуглое. В конце восемнадцатого столетия шальной цыган какой-то, отбившись с женой от табора своего, поставил с разрешения сельского схода на краю одной из алтайских деревень избу с кузницей и стал обслуживать поковками целую чалдонскую округу. Красавица, дочь цыгана этого, выйдя замуж за деда героя нашего, передает ему, внуку своему, как внешность, так и характер истого цыгана. Из-за этого вся деревня зовет его с детства не христианским именем, а прозвищем — Цыганок. последуем и мы примеру деревни и станем звать его тем же прозвищем.



Цыганок сей, освободившись по смерти родителя от твердой воли его, сразу же проявляет долго сдерживаемую цыганскую натуру — оставляет на попечение женившегося к тому времени собственного сына сельское хозяйство, на жену, — кучу детворы, а сам нанимается то ямщину гонять, то в дальние извозы ходить. А вот уже с год и совсем отбился от дому, увязавшись за отцом Савватием в качестве чтеца и певца. Благо Господь наделил его порядочным голосом, хорошим слухом и сподобил старообрядческой грамоте.

Отец Савватий числится иеромонахом мужского старообрядческого скита, что в верховьях реки Катунь, и в то же время состоит настоятелем старообрядческого прихода в округе от Семипалатинска до Бутырок. В монастырь свой является

он раз в год поговеть да казну сдать; лето же и первую половину зимы, пока снега еще не глубокие и бураны встречаются редко, проводит он в скитаниях по приходу. Но с Крещения на Кулунду наваливается полоса буранов; тогда Савватий оседает в степной деревне у отца своего, богатого крестьянина. Там, вдали от властей, отправляет он в местной часовне старообрядческие требы для тех, кто пробирается к нему незримыми путями. А кто пробраться не может, но зовет, к тому сам идет или едет, судя по обстоятельствам.

Официального гонения на старообрядческий толк к тому времени не было уже на Руси. Но неофициальное — процветало. Уряднику или становому приставу лучше было не попадаться на глаза служителю старообрядческой церкви. Потребуется такой куш, что не всякий осилит. А не осилив, по вые получит. А то еще за бродяжничество и в тюрьме насидится. Правда, отец Савватий не такого десятка, чтобы подставлять безропотно выю или следовать в тюрьму. На одной из лесных дорог встречается ему как-то в летнюю пору урядник, в тарантасе с колокольцами под дугой, с шашкой на боку и даже со шпорами на сапогах; благо становой не видит.

— Стой! — кричит он грозно, останавливая лошадь при встрече с отцом Савватием. — Пачпорт!

— Какой же пачпорт у сибирского крестьянина, — отвечает Савватий.

— Ты? Сибирский крестьянин? Что-то не похож... А-а! — восклицает он, завидев на раскрытой груди путника бронзовый крест и дароносицу и сообразив, что на встрече этой можно поживиться. — Да на тебе дары. А ну, подь сюды! — велит он, сходя с тарантаса.

Савватий подходит.

— Не крестьянин ты, а беглый поп. Правду я сказываю?

— Нет.

— Как нет? — кричит грозно страж и протягивает руку к дароносице.

Но во мгновение ока шашка его летит в одну сторону, шпоры — в другую, а сам страж — в третью.

Пока урядник поднимается на ноги и ищет свисток, чтобы подать сигнал сидящему на облучке сотскому имать и вязать варнака; того и след простывает между деревьями.

Таково было не по закону, а по произволу положенных священников сибирских старообрядческих церквей в тредине девятнадцатого столетия.

И сейчас о. Савватий сидит у озера при выходе из бора и думает, какой дорогой безопаснее будет пересечь открытый

участок степи — конной ли тропой или пустошью? Решает идти тропой, ибо о ту пору на тропе вряд ли кто появится.

Обоняния его касается табачный смрад. Отец Савватий бросает взгляд на лежащего невдалеке Цыганка. Тот раскуривает трубку.

— Ты опять за дьявольское зелье взялся? — рокошет бьет его.

— Да комарья-то вишь набралось сколь. И оно так и долит, так и долит.

— Комарье — долит... А совесть не долит? Не бойшься из-за зелья этого лишиться райского жития?

Цыганок выколачивает трубку и сунит густые черные брови. Кобчик стрелой падает с неба на висящего в воздухе и залывающегося песней жаворонка.

— Ты вот, твое преподобие, — говорит Цыганок — учен, всякой премудростию награжден. И песни божественные слгаешь. А скажи, отче, душа у того жаворонка, что пожирает вон на сухой муравьиной куче кобчик, есть?

— Всякое дыхание да хвалит Господа. А кто хвалит, тот и душу имеет.

— Эного я-то вот я не знал. И еще настави, отче: рай на свете един, али несколько?

— Известно — един. Как был един во времена праотца Адама, так и остается и будет оставаться единым до скончания века.

— И ты место обретишь в ем по преставлении?

— Это ежели буду хорошо вести себя на сем свете.

— Как же энтó — хорошо?

— Чтить Бога, старших, творить добрые дела, церкви Божин созидать, не убивать, не воровать, не прелюбодействовать. Ну и зеленого зелья не вкушать, табачища не курить... Ежели все сие соблюду, то в воздаяние Господь Бог повелит ангелу своему вселить душу мою в лоно Авраамле.

— Рядом с душой той рыбки, что изловил в озере и токо что с'ел?

— Пшел вон, еретик! — орет о. Савватий, хватаясь за палицу.

Цыганок, как зверь дикий, прядает в сторону.

Через несколько минут путники шагают мирно по степи по едва заметной охотничьей тропе: впереди о. Савватий, за ним — Цыганок. Время начало июня. Навстречу тянет теплый ветерок. Выбившиеся из земли весенние травы колышались на ветру, как бескрайнее изумрудное море. В воздухе щебет жаворонков. Со стороны подернутого кустарником мокрого луга

дергает коростель, жужжат дикие пчелы, метелятся бабочки. Высоко в синем небе кружит широкими разводами степной коршун. В чаще придорожного лозняка стрекочет белобокая со-рока.

— Всякая тварь в меру умения славит Бога, — басит о. Савватий.

— Славит, — соглашается шагающий сзади Цыганок и спрашивает далече ли до места, где думает о. Савватий заночевать.

— Что думка наша? Воля не у человека, а у Бога. Мы лишь шагаем, а Бог ведет. Верст с десятков отседова лежат березняк. Дубравой прозывается. На конной тропе это из Завьялова в Обненинское. При березняке есть вода. И охотничья избушка. И ежели будет на то Господня воля, тама заночуем.

Немного помедлив, продолжает:

— Ты вот, рабе Божий Сисое, даве дерзил мне. И не токмо мне, но и Богу, амо дерзавший человеку — дерзнул и Богу. А это большой грех-су. Осмотрись вокруг. Куда ни глянь — травка зеленеет, цветочки растут, пчелки нектар собирают, птички поют. Все радуется, славит Бога. Человек токмо вот, который превыше всего, бредет по степи, понутив главу. Возведем-су лики горе и воспоем славу Творцу.

И отец Савватий заводит на самом низком регистре: «Блажен муж»... Голос его предельно низкий, сильный, с бархатным оттенком рокошет, потрясает воздух.

К басу Савватия присоединяется баритон Цыганка. Поначалу несмело, потом смелее. Под конец песнопения голосам их кажется и под небесами становится мало простора.

За одним псалмом следует другой, третий.

Путники идут, поют псалмы, говорят. Из-за очередной гривы показывается березовая роща.

— Что это, отче? — спрашивает Цыганок, завидев ее.

— Дубровино сподобил Господь узреть — отвечает Савватий. Глянув на солнце, продолжает: — Еще до заката светила даст Бог будем на месте ночлега.

— А что пойдет дальше? Ты мне, отче, ни разу толком не обсказал. Бог-то Бог, да и человек должен знать куды Он ведет его.

— Дальше пойдет сухая грива в поперечине верстов с полста, а по длине — от Оби-матушки до Иртышу-батушки. И по гриве той ни озера, ни дубравы. Степь да степь, перекатная. Ее то, степушку эту, и предстоит пересечь с ночлегом под открытым небом, без воды, без топлива. Ну, а затем — путь-дороженька наша потечет вдоль Касмалинского бора до Семи-Палат. Тама сядем, ежели Господь приведет, на суденышко реч-

ное, и рекою Иртышею поднимемся до Бухтармы-реки, а по ней — до Листвяги-горы. Перевалив гору ту, попадем на Катунь-реку. А тама пойдут места одним нам, правой веры людям, ведомые, — продолжает он. — И какой тама простор! Какая красота! Снега, реки, озера, луга медоточивые леса, в которых ягоды, в каждом дупле склад меду дикого! А рыбы в озерах да речках! А птиц в небесах, в кустах, в травах! А маралов! А дикого бальзам-корня!.. Медведи вот токмо... Да такие драцлнвые. Чуть что — в драку. Особливо, ежели застанет за выбором меду из дупла. Рубцы на лбу моем — следы одного из них, язвы его!.. Оттуда, с Катунь реки, ежели что, близко к монгольцам. При царе Миколасе Павловиче, царство ему небесное, пришлось однажды отсиживаться у них. Не нам, а предшественникам.

— А люди встречаются тама? Не монгольцы, а староверцы?

— Староверцы — соль и Бухтармы, и Катунь, и Чуи-реки, и Черной Иртыши, что уже у монгольцев... Токмо часто не нашего толку. Много чашечников, сиречь — одноедан, не жалующих никого, опричь самого себя. И такой не дозволит тебе не токмо сенцами попользоваться для ночлега, а и в баню поночевать не пустит, воды испить из колодца не даст. А остальные — народ хороший: службы Божие любят, исповедуются... Да вот увидишь, когда до Касмолы доберемся. Токмо предваряю: зелья греховного — ни-ни! На баб и глазом повести не смей! Налакаешься где сивой водицы, свяжешься с девкой какой непутевой — изобью до пулусмерти. И брошу посеред дороги, аки пса смердяща. Мне легче будет пойти дальше одному, нежели зреть поношение церкви. Попомни же! Слово мое крепко и на ветер не бросается.

Цыганок идет на этот раз впереди, слушает наставление принципала, втягивает по ходу нотации голову в плечи и даже ростом мельчает.

В разговорах добираются они пока что не до Касмалы, а до Сидоровки — пересыхающей летом и бурливой в весению пору степной речки, противоположный берег которой порос буйным березняком. Сейчас вода по ней не течет, а спокойно рябит под кладками в набегающем ветерке, как рукав лежащего ниже озера.





ГЛАВА ВТОРАЯ

Цыганок, завидя на той стороне реки охотничью избу, спешит взойти на кладки, чтобы поскорее добраться до нее и сбросить с плеч тяжелую котомку. На середине их гнилая доска, путник ступает на нее, доска прогибается, ломается, увлекает его вниз; бултыхнув в воду, он с головой погружается в нее, показывается на поверхности раз, другой и идет ко дну под тяжестью ноши.



Отец Савватий поспешает назад, освобождается от котомки, сбрасывает сапоги, кидается в воду. На поверхность ее выходят к тому времени одни водяные пузыри.

Спасатель бредет на них; когда вода доходит ему до горла, ныряет он раз, другой, третий; за четвертым разом выволакивает утопшего на берег. На берегу стаскивает с него котомку, хватает за руки и орудует ими, наподобие рычагов, сверху вниз. Вода булькает изо рта и носа утопленника, но сам он не подает никаких признаков жизни. Савватий переворачивает его на грудь и всей тяжестью своей приналегает на нее, нажимает на легкие. Вода изливается из утробы пострадавшего ручьями.

После заката солнца в избушке горит огарок свечи. Цыганок лежит на лавке в запасном сухом Савватиевом белье, выбивает зубами дробь, отбивается от подносимой Савватием ложки с ухой и хрипит:

— Зело жгучее варево. Сущее раскаленное олово.

— Какое тебе олово. Ушица еле теплая, — успокаивает его принципал и сует ложку в рот.

— Не могу, отче; потребности нетути; смилуйся!

— Глотай, глотай! Согревайся! И силы набирайся! А то вона как колотишься. И синий, амо трухло.

Цыганок ударяет рукой по ложке; та валится на лавку и с нее — на пол.

На рассвете Савватий подходит с огарком в руке к лежащему на полатах Цыганку. Тот шевелится.

— А ну, кажи лик! — говорит Савватий, поднимая огарок.

Цыганок поворачивается лицом к свету.

— Такой же синий, как и вчера. Почивал како?

— Вроде бы ничего. Но силушки нетути.

— Откедова ж быть ей? Намедни нутро кабыть наизнанку выворотило. А вкушать опосля ничего не захотел. Ну и отощал.

Савватий выходит наружу. Восток подернут жиденькими облаками. Вестница дня — Заря, пронизывает их расходящимися по небосклону розовыми лучами. «Можно было бы уже и в путь трогаться, думает он, но Сисой слаб. И ежели ничего не станет вкушать и сегодня, то не токмо днесь, но и завтра не тронешься никуда. Надобно пойти полечеть его.»

— Есть хочешь? — спрашивает он, слезшего с полатей апатичного и тощего Цыганка, войдя в избу.

— Не хочу. А нимало.

— Выходи, давай, тогда наружу.

Цыганок буравит его в недоумении черными зрачками.

— Пошто уставился! Говорю выходи наружу!

— В исподнем? Босиком?

— И в исподнем, и босиком. Марш!

Цыганок нерешительно, дрожа всем телом переступает порог. Савватий следует за ним.

— От избы до той вон березы сотвори пять кругов, — говорит он.

— Помилуй, отче! Недужный я.

— А чтоб стал здоровым и не торговался, набавляю еще пять. Сегодня, брат, не вчера. Айда за мной!

Савватий бежит к отстоящей от избы на сотню шагов березе; Цыганок трусит за ним. Наставник добегаёт до березы, поворачивает и бежит обратно. У избы останавливается. Цыганок тоже.

— Пошто остановился? Продолжай мерять расстояние,

как велел я. Да не семени, а дуй как следует. И когда отмеряешь десять кругов, тогда остановишься. Ну! — заканчивает он грозно.

Цыганок бежит бойчее. Савватий возвращается в избу и принимается разогревать вчерашнюю уху, следя за Цыганком в раскрытую дверь.

Через некоторое время в избу вваливается незадачливый утопленник, запыхавшийся, с росинками пота на лбу. Савватий накидывает на него зипун свой и велит походить малое время вокруг избы. Потом зовет.

— На вот, испей! — велит он вошедшему, подавая взятый с полки черепок с жидкостью.

— Что это? — спрашивает тот, принимая посудину.

— Лекарство.

Цыганок нюхает. Глаза его загораются огнем.

— Не лекарство, а зелье, — говорит он, — дьяволов нектар.

— Не мудри, а пей.

— А ты, отче?

— Мне сие не к чему. А тебе заради лекарства.

Цыганок осеняет себя крестом и одним духом опрокидывает в утробу с полстакана чистейшего спирту.

— Ну, как-су?

— Добре, отче, — отвечает тот, выпуская из утробы загодя запасенный дух.

— Ублажай тогда нутро караснком вот.

Цыганок не заставляет на этот раз упрашивать себя. Основательно поев ушицы, затем — разрешенного Савватием по «случаю случившегося» — сальца, косит глаза на стоящий на изображающем стол обрубке давешний черепок.

— Что, маловато? — вопрошает Савватий, перехватив взгляд Цыганка.

— В рассуждение пользы, пожалуй, што маловато. Ежели бы ешшо чудок, дак оно, нужно думать, изженет трухлявость из обличья без остатку, — заключает он.

Савватий обегает взглядом «трухлявое» еще обличье подпечного и наливает в черепок добавочно с глоток «Дьяволова нектара». Цыганок одним махом спроваживает его в утробу.

— Давно изволишь столь знатно защищать? — спрашивает его Савватий.

— С тех пор, как связался с ямщиной, отче, — отвечает он ничуть не охмелевшим языком.

— И по многу?

— Это по обстоятельствам.

— К примеру?

— Ну, ежели во здравии...

— Так, так!

— Да во благополучии.

— А еще?

— Да при хорошей закуси. Да во честной компании. Да за чужой счет — дак до бесконечности.

— Покедова чрево не рассядется? Али не очумеешь?

— Грешон, отче.

— Грешон, грешон! А колико грешон разумеешь?

Цыганок опускает голову.

— Когда в воду угодил — почему незамедлительно ко дну пошел? Грехи потащили. Грех — это такая же нечисть, аки и грязь. Егда человек, бродя по земле, грязн не обходит и обутков не чистит, то на них толико налипает ее, что трудно, али и вовсе невмочь делается таскать ноги. Тако же, ежели он, живя в миру, греха не обходит-су, то душа его толико напитывается им, что телу бывает трудно таскать ее, и он, человек, либо тонет, либо в пропасть упадет, либо в огне погорает, либо иною лютою смертию погибаша. Потому-то, как обутки человек должен чистить, так и душу должен он очищать через воздержание и покаяние. И чем больше будет он воздерживаться, тем лучше. Ну куда угодила бы душа твоя, когда упал ты намедни в омут, не сподоби меня Господь изволочь тебя почитай что из адава преддверия? Беспременно в ад, амо и табачище ты куришь, и зелье зеленое приемлешь не аки лекарство-су, и прилюбодействуешь, и души других смущаешь. Не мнишь ли ты, что давешнее балагурство твое насчет рая угодно Богу? Не токмо не угодно Ему, но и зело греховно, ибо совопросничество твое рассчитано было на смущение ближнего, на то, чтобы заронить в душу его семена сомнения.

Отец Савватий говорит на тему греха, воздержанья и покаянья, воздаянья за невоздержание до тех пор, пока не доводит Цыганка до слез.

— Теперь становись перед образом вон Божиим, — показывает он на стоящую на полке в переднем углу медную икону Спасителя, — молись Богу и кайся. А я пойду к озеру промыслить рыбки.

Озеро, куда выходит он через минуту, разливается ниже злополучных кладок версты на две в длину и сотни на полторы саженой в ширину, и пестрит несметными стаями водоплаваю-

шей дичи. Восточный возвышенный берег его, где находится охотничья изба, порос березняком, западный пологий метелится травой, желтеет прошлогодними камышами, перемежается кочкарниками. Северный берег озера упирается в природную известняковую перемычку, служащую подпорьем ему.

Теплый и паркий ветер набегают с запада, гонит едва заметную рябь по водной глади, перебирает русую бороду Савватия, тербит перехваченные лыком на уровне глаз волосы, играет подолом пестрядиновой рубахи его.

Дуновение утреннего ветерка спадает, наступает тишина. Щебет жаворонков виснет где-то в стороне над степью и сюда не доносится.

Но вот степную тишину начинает колебать гул — низкий, густой, как бы из недр земных исходящий. Гул формируется в слова, возвышается и разносится по окрестностям в славословии: «Благодать возсия»...

Пропев стихиру, странник переходящий делает шаг к воде, закидывает удочку. Наловив рыбы на предстоящий путь, принимается он мыть белье, свое и своего незадачливого спутника.

«Спутника» этот не пара ему с нравственной стороны, но ходить одному становится небезопасным: в степях расплодилось много зверья, в частности — волков. К тому же, стали появляться переселенцы — народ хотя и христианский, но озорной. Практика же его по окормлению явных и тайных старообрядцев не прекращается. Не прекращаются и поступления к нему денежных сумм для скита. Сейчас, например, моет он белье и ощущает на себе пояс, наполненный имперналами.

В кустах раздается шорох. Савватий хватает в руки палицу, с которой никогда не расстается. Из кустов выскакивает зайчиха с выводком зайчат; ей, видимо, наскучило ждать под кустом ухода непрошенного гостя, и она сама переселяется в другое место и уводит семью свою. Как-то раньше, в ином месте, была у него иная встреча. Из кустарника появилась тогда не зайчиха, а голодная волчица. И на него. Внезапным ударом груди в плечо сшибает она его с пня, на котором сидел он. Завязывается борьба не на жизнь, а на смерть. Он руками жмет ей горло, а она задними лапами когтит ему живот, ноги.

Савватий забирает рыбу, помытое белье и идет к избе. Изба сотрясается. Но не от покаянных рыданий Цыганка, а от доносящегося с полатей неистового храпа его.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К вечеру западный горизонт начинает затягиваться тучей. «Не миновать дождю» — думает Савватий и обходит вокруг избы. Срублена она из толстого березового кругляка. Двухскатная крыша положена из березовых тесаных в паз плах. Под ними слой мха для утепления в зимнюю пору. А еще ниже новый настил из плах тоже в паз. Жилище в общем надежное, обрамленное со стороны надвигающейся грозы густым березняком, что по соображениям Савватия является немаловажным обстоятельством. По опыту он знает, что степным грозам предшествуют короткие, но сильные удары урагана. А что гроза будет нешуточной, он чувствует по тому, как парит в воздухе.

Кликнув Цыганка, выспавшегося и от'евшегося за день с благословения отца Савватия не только рыбкой, но и салцем — велит ему отправиться в лес и насобирать сухих дров дня на три, а сам идет к озеру запастись водой. Зачерпнув ее деревянным ведром, расправляет спину.

Туча — черная и грозная — занимает уже четверть небосвода, урчит и раз за разом блистает молниями. Ее края стремительно продвигаются вперед, обходят колок справа и слева, как бы в желании захватить его в объятия и спровадить в огнедышащую пасть надвигающегося чудовища.

Солнце уже давно пожрано им и лишь с одного боку тучи являют наружу остатки багряной, как бы окровавленной ризы его.

Надвигающаяся с юго-запада широкой полосой грозная туча пылает огнями, рокошет, передвигает с места на место отдельные звенья свои, как передвигает отважный полководец перед генеральным сражением корпуса: одни выдвигает вперед, другие — на фланги, третьи задвигает за укрытия, в засаду.

Там, на юго-западе, идет жизнь, движение, рокот, а здесь, на берегу степного озера, стоит тишина, покой, неподвижность: воздух не шолохнет, трава не колыхнет, березы, в предчувствии чего-то грозного, никнут косами до земли.

Савватий возвращается к избе, оборачивается на запад.

К тому времени померкнувший колок освещается уже не

небесным светом, а земным — огнями зажженного сухой молнией метелящегося за озером прошлогоднего камыша. Огонь, гонимый, предшествующим туче завихрением, вздымает красные космы до неба, застилает тучу, лижет кочкарник, приближается к озеру. Дышать делается нечем: разреженный воздух раздирает грудь, выпирает из орбит глаза, закладывает уши. Муравьи на соседней куче уходят в глубь жилища своего. Посвистывавший недалеко суслик еще больше пучит глаза, прячется в норку, заделывает изнутри вход в нее. Пара диких голубков, пренебрегая соседством человека, прячется под застреху избы. Стоящая на отшибе береза окутывается зеленым огнем, разлетается в щепки под грохот грома. Оглушенный взрывом Савватий валится наземь, по нему прокатывается воздушная волна. За нею следует удар урагана такой силы, что

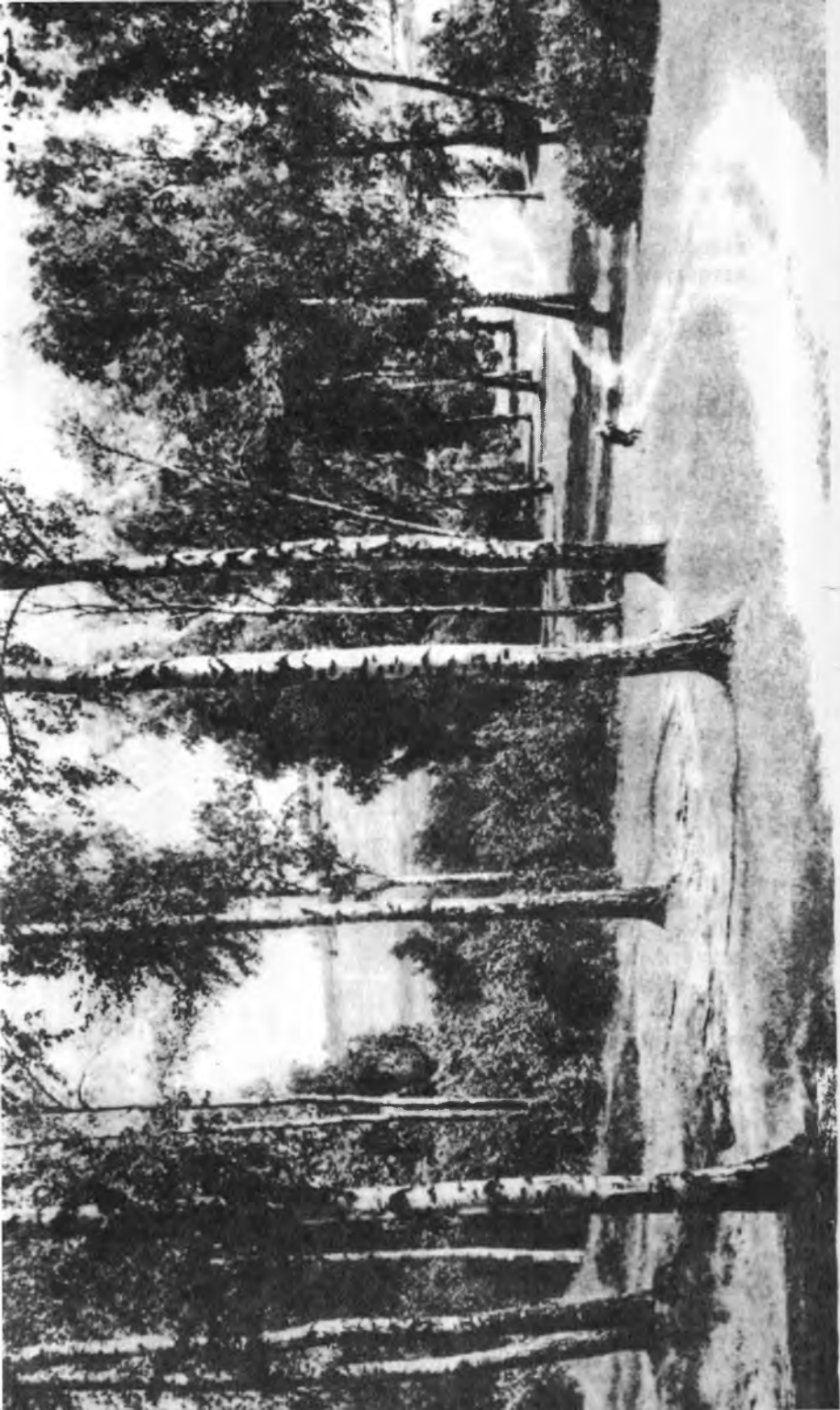
высящаяся на краю березняка могучая береза, до которой бежал утром Цыганок, выворачивается с корнем из земли, катится несколько сажений, застревает в кустарнике. Дверь избы распаивается, вылетает из ободверья, расшибается в куски о стоящую рядом другую березу. Колок во мгновение ока пригибается к земле, раздается в свисте ветра треск, ломающихся деревьев, ветвей. В другой миг расправляет он гибкую спину, мотается раз, другой из стороны в сторону, застывает. Наступает тишина так же внезапно, как и началась буря. Цыганок выскакивает из избы, помогает поверженному наземь и оглушенному наставнику добраться до избы, укрыться в ней. Отдышавшись там, выглядывает он наружу. Ряд старых могучих берез лежит на земле. Молодые, как более гибкие, выстояли напор урагана, но на них жалко глядеть.

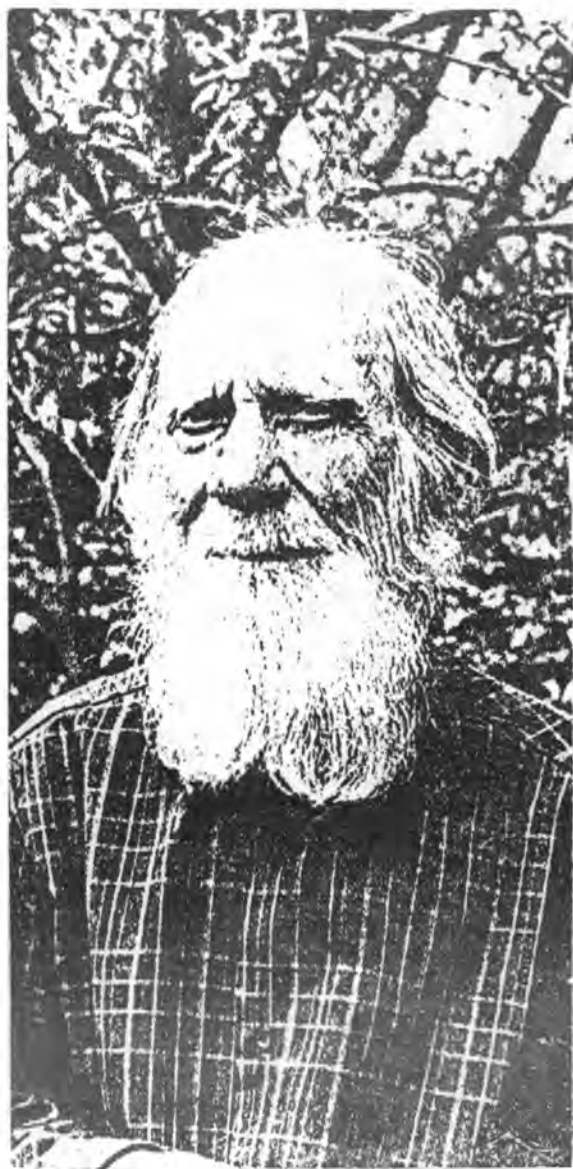
Земная стихия — пожар на прошлогодних камышах в затопье, разбившись на речных и озерных водах — затухает, смрад гари уносится ураганом на восток, воздух очищается и являет наружу стихию небесную — степную грозу.

Неистовство ее достигает к тому времени невиданной силы. Раскаты одного грома не успевают закончиться, как их перекрывают раскаты нескольких других. На одну вспышку молнии наслаиваются одновременно многие другие вспышки.

В избе, в березняке, в небе делается так светло, что в пору бы книги читать, иголки собирать, хотя ночь уже вступила в права свои.

В свете непрерывных молний, отдельные клочья туч налетают друг на друга, сталкиваются, отступают и в отступлениях крушат другие тучевые звенья.





Тип старообрядца

Глядя на тучеворот этот, Цыганку, неискушенному в законах физики, трудно убедить себя, что перед ним гроза, а не сражение каких-то нечистых сил.

Об лежащий перед избой обломок двери ударяет первая крупная дождевая капля; за нею — вторая, третья, четвертая в перемешку с огромными градинами. Через минуту град барабанит по плахам крыши тысячью небесных молотков. Проходит еще миг и на землю валятся уже не градины, а куски льда, устилающего ее толстым ледяным покровом.

Грохот валящегося с неба льда, раскаты грома, неистовство молний, сливаются воедино, рождают у человека чувство безысходности, обреченности, своей никчемности.

По некотором времени град прекращается и переходит в ливень, в невероятный водный поток. Еще несколько минут назад раскаты грома доносились откуда-то издали; сейчас же грохот их раздается над головой, молнии полосуют небо по всем направлениям: сверху, с боков, спереди, сзади.

Непрерывные вспышки огня, грохот, вода в небе и на земле создают впечатление, что кроме воды, огня и грохота на свете ничего нету другого. Странники сидят под крышей избы, глядят на светопреставление в дверь и думают, что должно и в библейский Всемирный потоп вода не хлестала с неба сильнее, нежели сейчас.

Избу потрясает невероятной силы взрыв молнии, над самой крышей ее.

— Свят, свят, свят Господь Саваоф! — причитают оба, истово крестясь.

Вода тоннами низвергается на крышу и с нее водопадами скатывается на землю, превращая ее из тверди в хлябь. Хлябь эта поднимается на уровень пола избы, просачивается сквозь щели его, переливается через порог, растекается по избе.

— Отче, праведный! — вопиет, молитвенно сложив руки, Цыганок. — Заводи Правило. Последний час живем. Наступает сызнову Всемирный Потоп.

— Не дури, ереснарх несчастный! Перво-наперво я не праведный. В другоряд, второму Всемирному Потопу не бывать, как сказано в писании. В дьякона просишься, а священного писания не знаешь-су. Но Правило запоем. Налаживай, давай, место!

Цыганок, шлепая босыми ногами по воде, зажигает перед образом Спасителя огарок, кладет на полку Евангелие, крест. Отец Савватий, засучив портки, облачается в вынутые прислужником из котомки подрясник, епатрахиль, берет кадило.

В небе потоки воды, громыхает гром, блистают молнии; в избе — мерцание свечки, кроткий лик Христа, запах ладана,

молитвенные звуки мужских голосов.

Правило о. Савватий правит обстоятельно, долго, до полуночи. К тому времени поток воды с неба начинает спадать, взрывы молний перемещаться за колок.

Отслужив правило, благословляет он на сон грядущий Сисоя, лобызается с ним. Последний сей, убрав облачение, лезет на полати. Савватий же еще долго сидит на лавке, прислушивается к утихающей грозе, приглядывается к спаду воды из избы. Но вот и он крестится, задувает свечку и укладывается на лавку.

Наутро о. Савватий поднимается чем свет, споласкивает водицей лик, крестит лоб, накидывает зипун, шляпу и направляется к выходу. У двери, качнувшись влево, оглядывается. Правая половина избы, на которой стоит печка, порядочно осела против левой. Переступив порог, увязает он босой ногой в грязь чуть ли не до колена. Утвердившись на обе ноги в земляной жиже, обзирает колок. Града, покрывавшего с вечера толстым слоем землю, уже нет, хотя сама жижа нестерпимо холодная. Значительное число деревьев лежит на земле, вывернутое с корнями. А те, что стоят — без веток, без листьев с ободранной корой — тоже не жильцы. Ежели и выживет что, то это будет что-либо из молодняка, прикрытого старшими от градобития.

Оборачивается к избе. Стояки, на которых покоится она, значительно ушли в землю супротив прежнего. Особенно правой стороны. Изба в одну ночь постарела на ряд лет. Ободверья, покосившись, грустно глядят на мир Божий. Издолбленная градом крыша выглядит не крышей, а измочаленной конскими подковами болотной мостовой. Рубленные в обло стены, деформировавшись от перекоса сруба, являют наружу ошметья мха.

Савватий вытягивает ногу из грязи, ставит ее на дверной обломок, за нею — другую, бросает взгляд под застреху. Вчерашние голубки сидят на месте, прижавшись друг к другу и нахохлившись. В воздухе холодно. И пасмурно. На землю еще ложится морось.

Перебираясь с одного дверного обломка на другой, выбирается он на опушку леса. Невдалеке висит на кусте суслик с разможенной головой. Видимо тот, что посвистывал вчера и заделывал вход в нору. Рядом с ним — тушканчик, сорока, несколько синичек и других пернатых и грызунов. Здесь, где стоит Савватий, растет кустарник. Вода, спадая после ливня, прибила их сюда и отцедила, как на решете.

Видимость сужена из-за мороси до сотни саженой, но тот берег озера и реки, на котором он стоит, виден хорошо. Уровень воды поднялся в них сажени на две, до самых кладок. Реки сейчас нету в обычном понятии; сливается она с озером и уходит в прикрытую моросью даль невесть на какое расстояние.

Морось постепенно ослабевает, горизонт видимости раздвигается; проходит какое-то время и на северо-востоке образуется светлая полоска, в которую просовывает лик дневное светило. Отец Савватий, вздев руки к небу, возглашает: «Да будет Свет!». И поет: «Свете, тихий»...

Туча, явив солнцу плоды ночного разбоя своего, и как бы устыдившись содеянного, затягивает горизонт и скрывает от источника жизни на Земле плоды эти. Но с севера начинается дуть Борей, рвать в клочья облака, сушить землю.

Перед возвращением в избу, Савватий оглядывает еще раз содеянное грозой опустошение и лишний раз убеждается в непостижимости путей Господних. Не случись третьеводни несчастья с Сисоем, не жить бы сейчас ни ему, Савватию, ни спутнику его, Сисою, ибо ударов тех кусков льда, что валились с неба, достаточно было, чтобы убить не только суслика, но и коня. Черная, перепаханная градом почва, тянется на восток, с южной стороны — на сколько хватает глаз, с северной — грань ее обрывается на расстоянии нескольких верст от избы.

Цыганок, проснувшись позже принципала, выглядывает в дверь. На дворе — опустошение. И по «опустошению» этому следы о. Савватия ведут к озеру.

«Не утоп бы»... — думает он и ступает ногой в грязь. Не почувствовав твердости, вытягивает ногу из жижи, держась за притолоку и возвращаясь в избу.

«Ну он не из таковских, чтобы завязнуть где» — продолжает думать. — «От давешней молоньи я в избе оглох, а он был от нее в двух шагах и хоть бы что».

Успокоившись на этом, принимается он жарить рыбу к трапезе утренней.

К возвращению Савватия в избу, от туч не остается и следа. Борей разметал их и равопнал без остатка.

Завтракать садятся в избе, ибо на дворе из-за грязи при moistиться нетде. Потрапезовав, о. Савватий принимается рассказывать о виденном.

— А мне дозволишь, отче, слово молвить? — спрашивает Цыганок, когда Савватий умолкает.

— Позволительно. Отчего ж нет, ежели дело сказать сбираешься?

— Известно, дело. Без дела почто ж язык чесать.

Малость помедлив, продолжает:

— Ты токмо, отче, не серчай. И жезла строгости, аще реку что невпопад, не распускай. Аз же есмь раб не мудрый. Но такожды и не лукавый. Ей-же-ей!

— Верю, верю! Что-то уж длинное предуведомление ведешь?

— Поведешь, ежели потом, опосля беседы с тобой, ходишь с синими плечами.

— Тогда лучше помолчи.

— Да нет уж, обскажу! Не пожалею плечей. В писании кабыть говорится, что всяко дыхание славит Господа.

— Не кабыть, а истинно так.

— Ну, да ж — истинно! Я же не сумлеваюсь... И ешшо в писании сказано, что все создано Всевышним. И что у всего сущего и волос с головы случайно не падет.

— В писании хоть и не совсем так сказано. Но это ничего. Продолжай!

— Следственно все свершается по воле Создателя Всемилостивого. А почему ж созданий, Его Всемилостивого, толико валяется по колку нашему?

Савватий молча слушает собеседника.

— Вечор, — продолжает Цыганок — колико живности разной щебетало здесь, пело, насвистывало, детишек высиживало, питало их, и так али эдак славилу Бога, как ты давеча тоже говорил. А где они нынче? Почему не славят Бога? Потому что лежат бездыханными, побитыми. И большие и малые. Почему? Почему истребил их Господь?

Савватий супит брови, но не гневается, ибо чувствует, что вопрос не озорной, а недоуменный, проистекающий из глубины души вопрошающего.

Говорить Савватий мог и по простому и по ученому. В старообрядческом, разумеется, смысле, будучи порядочно подготовленным в ските начитанными богословами. Но с простым народом говорил он простым языком. По крайней мере старался говорить. Как и сейчас.

— Живности побитой градом лежит тут зело много, — начинает он. — Ежели попытаться счесть, то может сказаться, что побито ее по всему градобитному полю, вместе с насекомыми и мошкарый, поболе того числа людей, какое житель-

ствуется нынче на земле. Почему побиты они непонятно ни тебе, ни мне. Отчего непонятно? Да оттого, что не совершенны мы есте-су. А несовершенный, по несовершенству своему, не обмыт замысла Всесовершенного.

Цыганок чешет затылок и направляет разговор на решение задач не отвлеченных, а конкретных, спрашивая:

— А что, отче, нынче тронемся в путь али нет?

— Невозможно будет, друже. Впереди, хотя болот и нет, но балок, по которым течет сейчас вода, великое множество. До вечера и за ночь вода с них спадет, земля подсохнет, и мы, ежели сподобит Господь, завтра поутру пошлагаем. А сейчас, я пойду к воде промыслить в дорогу рыбицы, а ты выведь проветрить худобу. И из котомок — тожь!



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На следующий день путники бредут на юго-запад Кулундинской степи. Два дня до этого здесь все цвело, благоухало травами, пестрело цветами. Воздух звенел щебетаньем жаворонков, стрекотом кузнечиков, жужжанием трудолюбивых пчел. Почва полнилась муравьиными тропами, норками жуков, пауков и прочих членистоногих, норами сусликов, тушканчиков, горностаев, лисиц, барсуков. Небо бороздили там и сям рябчики, коршуны, цари пернатых — орлы. Из кустов дразнили их белобокие сороки. А сколько носилось здесь над травами бабочек!

Сейчас пространство это не цветет, а зловеще чернеет вширь и вдаль насколько хватает глаз: травы, цветы, кустарники перемолочены градом, как бы гигантским цепом, и втоптаны в почву; живность не поет, не порхает, не суетится, а валяется мертвой на земле или плавает в водах водосборных ям; и само небо пусто и безмолвно, как в первый день мироздания.

Только солнце по-прежнему светит и обогревает обездоленную землю, да юго-западный ветер дует в том же направле-

нии, что и в день катастрофы.

Савватий и по взрыхленной и вязкой почве шагает легко, уверенно взмахивая палицей и неся на каждом сапоге по полпуду налипшего вязкого чернозема. Цыганок же плетется усталое, дышит тяжело, пот градом катится со смуглого чела его.

— Что, притомился еси? — вопрошает его о. Савватий, оборачиваясь на ходу.

— Вроде бы, — отвечает тот.

— Подавай сюда котомку грехов твоих!

— Ась!

— Котомку, говорю, подавай сюда с грехами своими.

— Какими энто?

— Что накопил в ямщину, — продолжает Савватий, протягивая руку к ляжке спутника.

— Энто како же?..

— А тако; не кривись, что пьяница перед рюжкой водки, а подавай котомку сюда, — говорит наставник, стаскивая ее с Цыганка, перекидывая на свое плечо и меряя стельку тем же шагом. Цыганок плетется за ним и лепечет:

— Сором на мою голову. Какой сором, ежели вымотаешься, отче, из сил!

— Я не вымотаюсь, а ты вымотаешься. Как пить дать. До Обиенной еще целых сорок верст.

Дальше идут молча: Савватий из-за увеличившейся тяжести, а цыганок — в смущении; он и впрямь чувствует, что выбьется из сил, ежели такой путь продолжится долго; и еще смущает его то обстоятельство, что питьевую воду вылил он из туеска утром у избушки, чтобы облегчить котомку в предвидении, что воды будет в дороге сколько угодно после дождя; ее и в самом деле много, но в ней столько вздувшихся мышей, крыс, зайцев, сусликов, птицы...

К обеду Савватий глядит на солнце. Светило парко пригревает с зенита.

— Давай, брат, остановимся перекусить, — говорит он, выбирая посуше пригорок и складывая на него котомки. — Вынимай рыбицу, сухарики и... сальце. В пути, да в таком тяжелом, Бог простит. И туесок с водицей. Изопьем перво-наперво.

Цыганок мнется.

— Ты чего?

— Да знаешь что, отче...

— Что?

— Бей меня и убивай. И по делом мне будет... Вылил я водицу-то утрось...

У Савватия зачесались было руки. Но только на миг. В другой миг он думает, что толку бить дурака. Воды из него не выбьешь. Оглядевшись, встает и идет к виднеющейся невдалеке дождевой яме. Побитой градом степной живности в ней полным-полно.

«Такую воду пить не токмо омерзительно, но и опасно», — соображает он. — «Можно вкусить вместе с влагой и чумы... И обедать сейчас не следует. Опосля него усилится жажда... Без еды мы еще можем дотянуть до Обиенной. А когда поедим, жажда удвоится, удесатерится. Ну и погибнем, аки твари неразумные».

— Обедать не будем, — об'являет он, возвратившись к Цыганку.

Тот покорно принимает известие, как заслуженную кару ему за вылитую воду.

— Складывай, давай, все на свое место, — продолжает Савватий.

— А ты, рази, не поешь?

— Нет.

— Пошто же? Виноват я един.

— По то, что не хочу помирать.

— От еды?

— Не от еды, а от чумы, которая может гнездиться в каждом плавающем в воде грызуне.

Цыганок столбенеет. Он и впрямь слышал от стариков что-то в таком роде.

Савватий роется в своей котомке и извлекает из нее клубок запасных портянок. Из них вынимает баклажку, взвешивает ее на руке, велит Цыганку подать кружку, наливает в нее несколько глотков жидкости.

— Пей! — произносит он хлесткое, как звук бича, слово, подавая кружку Цыганку.

Тот берет ее, по обыкновению нюхает.

— Сие есте, — продолжает Савватий, — не в баловство, а во спасение башки твоей, неразумной. И на весь день. Трапеза и питье, вместе взятые.

Цыганок набирает воздуха в грудь, опрастывает кружку, возвращает ее Савватию и только тогда выдыхает воздух. Тот отмеряет в нее столько же жидкости, крестится и со словами: «прости, Господи», опорожняет посудину. Усталость и жажда у того и у другого, как рукой снимает.

Сисой, расчувствовавшись после возлияния, тянется к руке Савватия поцеловать ее.

— Нечего, нечего! — обрывает его тот. — Подбери нюни!

И шагай за мною! — говорит он в заключение трапезы, вскидывая на плечи котомки и направляясь по одному ему известному пути на деревню Обиенную по взрыхленному градом полю, без тропы.

Когда солнце начинает идти к закату, на горизонте показывается светлая полоска. Савватий останавливается, прикладывает руку козырьком ко лбу, вглядывается в нее. Потом крестится и говорит:

— Молись Богу, рабе нерадивый.

— Пошто? — отзывается тот, бледнея в предвидении чего-то недоброго.

— Зеленая степь виднеется впереди.

Цыганок устремляет взгляд туда, куда смотрит принцепал, бледность исчезает с лица его, он наскоро крестится и почти бегом устремляется вперед, к степи не черной, а зеленой, столь вожаделенной для него, изрядно к тому времени притомившегося.

Поев и попив наскоро на зеленой степи у попутной промоины с чистой водой и выйдя на тропу, от которой уклонился Савватий не больше сотни сажен, путники идут дальше. К вечеру показывается с правой стороны крест на вершине небольшого кургана.

— Что энтэ? — спрашивает Цыганок.

— Могилы шалыгана какого-то.

— Бродяги?

— Бродяги. И к тому же, такого умника, как и ты. Ибо тоже пошел в степь без воды. А так как была о ту пору не первая половина лета, а вторая, когда дождей здесь не бывает и стоит жара. Ну и выбился из сил. А выбившись помер тама, где стоит крест.

Крест, к которому подходят путники к закату солнца, высечен из светлого известняка. На нем надпись: кто, какого рода и племени, в каком возрасте погребен под крестом.

— Кто ж похоронил его? — осведомляется Цыганок.

— Дружки. Политические поселенцы из Волчихи; они же насыпали курган; и крест поставили. Вынимай, что нужно. Споем панихиду по нем.

— По бунтовщику супротив царя-батюшки?

— Хотя бы и по бунтовщику. Что нам до этого. Человек же ведь был. И к тому — православный, как это видать по имени.

И вот несется по темнеющей степи:

«Святыи Боже, святыи Крепкий, святыи Бессмертныи помилуй нас»...



Густые и стройные голоса, фимиам ладана, ароматы засыпающих степных трав сливаются воедино и замирают где-то в вышине.

Отступив от могильного кургана на несколько шагов спутники располагаются на ночлег.

— А что, отче, не станет являться к нам ночью курганный сосед наш? — спрашивает Цыганок, укладываясь спать рядом с Савватием с противоположной стороны от кургана.

— Что ты мелешь? Кто и зачем стал бы являться к тебе?

— Курган, твое благословение, завсегда был и есть место нечистое... Тьфу, тьфу — не тем словом будь помянут!



Ночью Цыганок шепчет:

— Слышишь, отче?

— Что слышишь? — бормочет Савватий спросонку.

— Кабыть стон.

— Не мели попусту.

— Ей Богу похоже, что стонет.

Савватий, зная, что Сисой божится только в крайнем случае, приподнимается на колени, опираясь на палицу, прислушивается. Невдалеке проектируется крест. За ним выкатывается из-за края земли клинок ущербной луны и почти заметно ползет вверх. Где-то в стороне тянет постоянную ноту ранняя цикада. Но никакого стона не слышно.

— Не выдумывай и ложись спать, — велит от Цыганку.
— Никакого стону не слышно.

— Таперича нет, а допрежь слышно было. Может быть волк выл.

— И пусть воет. Здесь он сыт и нам не страшен. Ложись и спи! Завтра чем свет в путь.

Цыганок ложится. Ложится и Савватий. И не успевает разоспаться, как опять шопот:

— Отче, снова стон.

— Ты положительно не даешь мне покоя сегодня, — бормочет Савватий.

— Сказываю тебе стон. Подымись поскорее!

Наставник подымается на локоть. Осколок луны уже высоко в небе. Еле слышный не то стон, не то вой доносится со стороны креста раз, другой.

— «Что за наваждение!» — думает он. — «Откуда быть тут стону?»

— Слышишь, отче?

— Слышу, рабе Сисое. Ты посиди здесь, покарауль котомки, а я схожу, разберусь, что там такое?

— Э, нет, твое благословение! С тобою Дары и Божья благодать. А что со мною? Ни в жисть не отстану от тебя.

— Тогда вздевай котомку и шагай за мной.

Идут. У креста останавливаются. Стон, едва слышимый, раздается снова. Цыганок шарахается в сторону, шепча: «Свят, свят!...»

— Куда ты, дурень! — останавливает его Савватий, хватая за руку.

— Подальше от креста.

— Затеряешься в темноте и сгинеешь.

— Но он шевелится.

— Кто?

— Крест-от каторжанина. И должно безбожника. А может и колдуна. И стоны доносятся из-под него, креста этого.

— Не из-под креста, а из-за него. Пойдем на стон.

Цыганок цепляется за руку Савватия и шагает рядом, дрожа и оглядываясь на крест.

— Чего вертишься, мешаешь идти?

— Опять стонет крест. И шатается.

— Дам я тебе вот по затылку, — грозит ему принципал. — Тогда и ты застонешь и зашатаешься.

Цыганок косит глаза на огромную ручищу наставника, несколько успокаивается, отпускает руку и шагает без повода. Стон раздается снова. Пространство впереди ровное, просматривается при свете куска луны неплохо. И ничего не видно впереди необычного. А стоны повторяются и повторяются. И все явственнее и явственнее. Уже и Цыганок не сомневается, что доносятся они с запада, а не с востока, не со стороны креста.

По мере того, как путники идут, попадаются муравьиные кучи, барсучьи норы, дождевые, наполненные водой промоины.

А странный звук то прекращается, то усиливается. И наконец, переходит в вопль, в призыв о помощи. Савватий кашляет, тужится и рывкает: О-го-го-у-у! Раскаты могучего голоса потрясают воздух, облетают окрестность и возвращаются к источнику возникновения в многократных отзвуках. Цыганок пригибается в ногах, хватая поводыря за руку, вопрошает:

— Зачем ревешь?

— Оповестить, что идем.

— А ежели энто разбойничий зазыв?

— Кого ж тута зазывать?

— А то может... леший какой водит нас по степу.

— Не верь ты в леших этих.

— Как не верить, когда в Бутыряках у нас лет с пять тому назад заводил он по степу доброго, богобоязненного мужика на смерть. Кромь того, о скольких таких случаях старики сказывали.

— Старники насказывают тебе семь верст до небес, да все лесом. Постерегнсь крикну!

И Савватий снова гогочет с добавлением, что «идем».

На «идем» отзывается уже явно человеческий голос: «Слышу». Только голос этот исходит значительно правее пути их.

— Вот! — шепчет снова Цыганок, крестясь и отплевываясь то направо, то налево. — Так оно и есть: леший. У него в привычке подавать голоса то справа, то слева, покедова не закружит человека и не собьет его с панталыку.

— Не у лешего в привычке подавать голоса то справа, то слева, а у человека в обычае забирать в движении в темноте или в лесу влево — ежели он правша, и вправо — ежели левша. В разговоре я это упустил. Ну и уклонился в сторону.

Наконец, на каком-то бугорке показывается мотающаяся из стороны в сторону черная фигура. Савватий подает голос. Фигура отзывается:

— Если ты не призрак, а живой люди, то подходи.

Богатырь уверенно шагает на голос. Цыганок несколько отстает. На бугорке продолжает мотаться из стороны в сторону сидящий на земле человек. При приближении путников, он дико взвизгивает, хохочет. Цыганок оборачивается и давай Бог ноги. Отбежав на почтительное расстояние, останавливается. Савватий подходит к фигуре. Фигура отшатывается в сторону, валится на землю, дико визжит. Пришелец наклоняется над нею. Глаза странного существа вспыхивают при свете луны зеленым огнем, нос изгибается у него крючком, зубы лязгают железом, в руке появляется кинжал.

Савватий во мгновение ока хватает его за руку. Существо вздрагивает, лишается чувств.

— Сисой! — зовет Савватий.

— Тута есте, отче, — отзывается тот, осмелев.

— Воды подай!

Опрыскивание не помогает. Разбавленный и влитый в рот спирт оказывает действие. Субъект вздрагивает, кашляет, открывает глаза.

— Что с тобой? — вопрошает его Савватий.

— Нога. Правый. Сломан. Страшная боль в колено. И пить, пить...

Глотнув несколько глотков воды, подправленной спиртом, больной оживает. Савватий перекладывает его при помощи Цыганка на разостланный зипун, стаскивает с него сапоги, ощупывает ногу. Пройдя в свое время при ските у какого-то отставного врача-единоверца обучение в оказании помощи человеку, и имея потом большую практику среди прихожан, особенно в области костоправства, он без труда прощупывает сквозь опухоль вывих ноги в колене. Начинается костоправство.. Лекарь крутит и вертит ногу больного; тот дико орет, просит оставить его помирать в степи, но не терзать. Савватий не обращает на крики его внимания и настойчиво продолжает дело свое. Нога наконец издает хруст, становится на место, чувствительный пациент теряет сознание. Лекарь растирает колено ему спиртом, бинтует запасными портянками, перекладывает его на нарезанную Сисоем в соседнем кочкарнике сухую осоку, прикрывает зипуном, расправляет спину свою. Короткая сибирская летняя ночь близится к концу. На северо-востоке алеет узенькая полоска утренней зари. Сотворив утреннюю молитву, ложится он рядом с больным; Сисой тоже ложится, но не с другого боку больного, а под боком у Савватия.

Утром путники будят больного, когда солнце уже порядочно пригревает, поят и кормят его. Савватий осматривает колено. Опухоль остается на нем сегодня меньше, нежели было вчера. Пациент чувствует себя значительно бодрее, но стать на ногу не может. Савватий еще раз растирает остатком спирта колено ему и бинтует. Сисой тем временем сооружает из палиц и зипунов носилки, вдвоем кладут они больного на них и переносят в тень виднеющегося невдалеке на краю болота лозняка.

Оказывается он рабочим одной из землеустроительных партий в Кулундинской степи. Вчера утром выехал на верхом на лошади из селения, что у Кучукских юрт, в селение Мамонтово с донесением. Лошадь досталась ему молодая и уросливая. По дороге испугалась она выскочившего из под ног зайца, выбила его из седла и ускакала невесть куда, подгоняемая бившими ее по чем попало стременами.

Лошадь ускакала, а он остался среди степи с поврежденной ногой на произвол судьбы, на расстоянии сорока верст от жилья.

Провалился он день среди степи с болящей ногой, томимый голодом, терзаемый жаждой. Днем он еще крепился. А когда настала ночь и в перспективе стал обрисовываться второй мучительный, а может и последний день жизни, терпению его приходит конец, и он начинает кричать. Не в надежде, что кто-то услышит, а так, чтобы душу отвести. Прокричит, продвинется на шаг вперед и вроде бы легче станет. Потом опять прокричит, опять продвинется. А куда, зачем — не отдает в том отчета. По пословице: утопающий хватается за соломинку. Затем и кричать перестал, не осталось сил. А только стонал. Услыхав первый отзыв Савватия, остолбенел, принял его за предсмертную галлюцинацию. Когда же появился он вблизи, счел его за адова посланца.

— По выговору моему, — поясняет он, — вы вероятно догадываетесь, что я кавказец. И не ошибаетесь: лезгин я. Отца моего убил лихой человек. По закону нашему я должен был отомстить ему. И отомстил. Потом бежал в Сибирь, очутился в Томске. И оттуда попал сюда. И вот, когда ты наклонился ко мне, в лице твоём я почему-то увидел брата убитого мною человека, пришедшего отомстить мне.

— Убийство вообще большой грех, — замечает Савватий. — А убийство из-за мести, по заранее разработанному плану — двойной грех, рабе Божий. Отца твоего убил злодей, ты — злодея этого; брат его, вероятно, ищет убить тебя. И доколе ж сие будет длиться? Дотоле, вероятно, покедова и тот и другой род не истребится.

— Но ведь такой закон. Понимаешь? Не понимаешь? Чиновники и те понимают и не преследуют за кровавую месть. А ты не понимаешь, хотя и поп... Да меня, не постой я за честь отца, аул презрением покарал бы. И из селения выгнал. И ни один девушка замуж не пошел бы за меня, как за труса. Да и Магометов рай для таких закрывается, когда помирают они...

— Отче, всадники! — шепчет слушавший рассказ Цыга-

нок, показывая рукой на северо-восток.

Савватий поднимает голову.

На далеком горизонте спускаются с гривы несколько всадников на лошадях.

— Должно жандармы, — решает Цыганок.

— Не жандармы, — протестует горец. — Зачем ему сюда? Какая ему тут надобность? Мститель это мой с кунаками. Понимаешь?

Оказываются они и не жандармами, и не мстителями, а всего-навсего мирными землеустроителями из той партии, к которой принадлежит и горец. Путники наши сдают им больного и идут своей дорогой, выбираются на водораздельную гриву между реками Кулундой и Касмалой, и на урочище Юлусова Сырта останавливаются на ночлег.

Здесь когда-то размещался станом род киргизский. Затем, почвенные воды осолонились и род откочевал за Иртыш. Произошло это, вероятно, давно, ибо глинобитные постройки его разрушились, колодцы обвалились и ямы их порядочно заплыли черноземом. И сейчас лежат здесь они глиняные валы — остатки прежних сооружений, — да валяются цветные обливные черепки, стерегут окрестности, могильные курганы. И над всем этим летит в небо вертикаль попорченного временем минарета. Но и он, вероятно, скоро рухнет, так как фундамент его подмыт внешними водами, подточен ветрами.

Путники располагаются на ночь на таком удалении от него, чтобы ежели рухнет он, то обломки бы его не достигли их. Время коснулось не только фундамента минарета, но и верха. Ветер, непогода, солнце изрешетили и амбразурат минарета. Когда-то, видимо, пышная ротонда его, откуда муэдзин сзывал на молитву правоверных мусульман, сейчас представляет решето.

Положив на избранном месте котомку, Савватий поднимается на один из валов. Дует тихий, теплый вечерний ветерок, доносящий сюда терпкий аромат степных трав. Оглядывается в полутьме. В окрестностях, по крайней мере на десяток верст, не видать никакой живности, кроме жаворонков.

Последнии сии висят еще в воздухе и щебечут. Но и они постепенно унимаются. Взлетит какая-нибудь шалунья в воздух, залетит песнью, но спохватившись, что уже поздно, опустится и юркнет в траву.

Проходит еще какое-то время и степь засыпает. Только неугомонная цикада тянет где-то внизу монотонную песнь.

Савватий читает про себя правило на сон грядущий и тоже идет спать.

Среди ночи Цыганок шепчет:

— Отче! А, отче! Проснись!

— Чего тебе? — отзывается тот, спросонья.

— И здесь стон. Не облыжно сказываю. Подыми главу!

Савватий приподнимается. Еле уловимый, несказанно нежный и при том грустный музыкальный тон возникает на ноте «до» нижнего регистра где-то в воздухе, трепещет, возвышается, доходит до какой-то высоты, понижается до прежней позиции и снова поднимается, и снова понижается.

«Что бы это значило?» — думает он. — «Не цикада ли?»

Разобравшись, решает что не цикада. Но что же такое? Проходит он здесь не первый раз. Но никогда не слышал ничего подобного. Правда, в те разы проходил он мимо сырта, этого в дневную пору.

Звук снова возникает, трепещет в воздухе, проходит весь нотный ряд, возвращается вспять, замирает. Савватий улавливает, что возникает он в нижнем регистре, когда дует слабый ветерок, возвышается, когда ветерок усиливается и сходит на нет с превышенным ветром определенной скорости. Потом ветер начинает спадать и звуковые комбинации повторяются в обратном порядке.

— Како истекает скорбью бусурманская душа! — замечает Цыганок дрожащим голосом, когда мелодически, едва уловимый звук стихает. — Потопаем отче, отседова подобру-подорову.

Звук снова начинает ныть, стонать, невесть откуда взявшись. Свет ущербного месяца трепещет в гармонии со звуком, заливают встревоженное лицо Цыганка, отражается в черных зрачках его. Ветерок, откинув с широкого лба Савватия прядь серебристых волос, играет ею, забирается в его густую и тоже серебристую бороду, путается в ней.

— Слышь, отче? — заводит снова песнь свою Цыганок.

— Слышу. Не мешай!

Большие, бездонные в лунном свете глаза о. Савватия поднимаются вверх, взор их скользит по серебряной вертикали минарета, переходит со ствола на ротонду и застревает в чаше проектирующихся на посеребренном небе силикатных струн серебряной арфы.

— А-а! — произносит он вслух.

— Что такое? — вопрошает Цыганок. — Что зрише там, отче? Ноющую грешную душу бусурманскую?

Звук снова трепещет в воздухе.

— Не душу, брате Сисое, а рой ангелов небесных вижу

я, — отвечает шопотом Савватий.

— Поющих?

— Поющих.

— О чем, отче?

— О том, сыне, что грех долго слушать их, и что надобно ложиться спать.

Привыкший за время странствий к авторитету вождя не только физическому, но и духовному, Цыганок свертывается клубком и засыпает.



Кулундинская степь завершает на юге величайшую в мире Сибирскую Равнину, переходящую дальше в Алтайскую Горную Систему. Великая Сибирская Равнина начинается у берегов Северного Ледовитого Океана и тянется на юг на 2,5 тысячи километров и с запада на восток без малого на столько же. Наивысшая точка равнины этой, где спят странники пешехоже, не превышает 250 метров над уровнем океана.

Гидрология колоссального бассейна этого крайне неравномерна. На севере сумма стока воды в океан 10 литров с квадратного километра в секунду. Затем, по мере удаления на юг, сток этот уменьшается и доходит по изолинии Кулундинского озера до 0,5 литров в секунду с того же квадратного километра.

Многие степные реки южной части Великой Сибирской Равнины, такие как Кучук, Кулунда, Бурла, Карасук, Баган, Чулым и другие, вод в океан не отдают, а образуют, вследствие малого уклона местности, многочисленные внутренние горько-соленые водные бассейны. Подпочвенные воды Кулундинской и смежной с нею Барабинской степи жесткие, застойные из-за плохого дренажа. И сама почва часто заболочена здесь и осолонена.

Утром о. Савватий встает по обыкновению затемно, читает обычное правило, будит Цыганка и поднимается на тот же земляной вал, что и вчера. Ветер, довольно спорый, дует с юго-запада. Кулундинская степь лежит, куда ни глянь, и колышется ветром, как нескончаемый изумрудный океан.

Изумрудный океан этот подернут там и сям ковыльной метелюй, желтыми уже успевшими подгореть на солнце, пятнами, как например, на той возвышенности, на которой стоит он. У ног Савватия ковыльный пук; распутившись уже в полную меру, полощет он русозолотые кудри свои в сухом песочке. Ми-

нувшего дождя здесь, видимо, не было.

— Благослови, отче, яству утреннюю, — нарушает Цыганок степную тишину.

Савватий поворачивается. Солнце, глянув краем лика из-за горизонта, отражается лазурью в больших голубых глазах его, растекается по степи.

Через малое время путники снова меряют степь. Савватий шагает по ней, временами наклоняется, срывает нужный ему пук травы, сует его в сумку.

К обеденной поре поднимаются на очередную гриву, с которой открывается вид на Касмалинский бор, тянущийся по горизонту темной полосой.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

К деревне Обиенной подходят путники затемно. Со стороны ее доносится хоровая девическая песня. Цыганок оживает, приосанивается; усталость, как рукой снимает с него. Идут по улице. На каком-то проулке Савватий останавливается, вглядывается и решительно шагает в проулок. У большого двухэтажного дома под железной крышей стучит в дверь резного крыльца со словами старообрядческого приветствия. На рундуке появляется рослая девица в пышном пестром сарафане.

— Никак Параня? — говорит Савватий.

— Она есте, отче Савватие, — отзывается девица.

— Скажи, пожалуйста! За два года, что не бывал у нас, как вымахала! Сам-от, прадедушка-то дома?

— Дома.

— Веди нас к нему!

Через минуту Савватий лобызается в горнице с широкобородым и плечистым старцем. В горницу входит, мотая из стороны в сторону толстенной русой косой, прежняя красавица — очередная дежурная при прадеде для посылок правнучка.

— Чего тебе? — спрашивает он.

— В прихожей ждет соцкой.

— Почо?

— Кабыть черед нашему дому настал в церкву идти завтра.

— Молви ему, что сегодня я занят; гостей принимаю.

— Молвила. Да он никакого обращения на слова мои не имеет. Требует тебя в прихожую.

Старец выходит вслед за правнучкой. Через малое время возвращается.

— Отговорился, — об'являет. — Пусть другого кого наряжают.

— Завтра что — праздник? — осведомляется Савватий.

— Праздник. Иван Дравник. Их никоннанской.

— Какой?

— Иннокентий Иркутской. Новоявленной святой. Пойдем давай, отче, сведу ты и спутника твоего в парильню. Сам токо что оттедова. А опосля нее, потрапезуем, правило споем на сон грядущий да и спать поляжем. Делом же займемся завтра. Утро вечера мудренее.

В полосе Касмаянского бора лежит немало чалдонских деревень. И одни из них старообрядческие, другие. — не поймешь какого толка. Внешне будто православные; имеют храмы, священников, приходские школы. Но внутренне жизнь ведут чисто старообрядческую: крестятся двумя перстами, имя Иисуса произносят через одно «и», иконы и книги признают только старого письма, никоннанские церкви посещают только по наряду полиции, содержат негласные молельни, в которых совершают моления по обряду своему.

К сим последним деревням относится и деревня Обиенная.

Существует деревня эта с тех пор, как начало существовать русское население в Сибири. Какой-то Обий пришел сюда по кличу еще удалого казачьего атамана, Ермака Тимофеевича, обосновался здесь, дал начало русоголовому, сероглазому, рослому потомству, разросшемуся к нашим дням в большую сибирскую старообрядческую деревню. Зачислена она в разряд православных лет за сорок до теперешнего появления в ней о. Савватия. Проходил о ту пору вдоль Касмаянского бора жандармский отряд. Снятый с неказистого вида майорский его, ротмистр фон Ирт Перетц, остановился в ней раньше других деревень, потому что выгрузился с парохода на Обской пристани Камень и вышел к Касмаянскому бору у деревни Оби. Расположившись близком воле ее на опушке бора, вместе с старосте деревни совать сельский сход. На сходе забрасывает его вопросами.

— Сколько в деревне дворов? — спрашивает.

— Колико, вопрошаешь, дворов в деревне-от? — начинает держать ответ староста. — А дворов в ей будет без двух три ста-су.

— А жителей?

— Жителей? Жителей мужска полу без малого две тыщи-от.

— А точнее?

— Точнее надоть походить по дворам да посчитать, таже благородие.

— Запишем тогда 1955 человек.

— Энто колико ж будет? (Писарь подсказывает на ухо: без сорока пяти две тыщи). А-а! — уразумевает староста, — Дешнее-толико будет. Иници, тое благородие... Писарь добавляет, потому что староста не может выразить в новом исчислении: 1955.

— А женского? — обращается ротмистр уже к писарю.

Перед этим сложным вопросом пасует и мудрый писарь. Начинается сходной галдеж, из которого вырываются отдельные фразы:

«Стародась никто не спрашивал про женский пол».

«И старнки энтото не упоминает».

«Да кто ж и когда считал ово?».

«Сегодня товару энтото в деревне одно число, а завтра парни наволокут его из смежных деревень, али упусят туды — станет другое».

Сход судит-рядит и наконец определяет, что женского полу в деревне маненько поболе, нежели мужского. А насилько поболе, того пусть доищется господин ротмистр.

Последний сей осведомляется у старосты, как прозывается деревня их, ибо в кадастре она не числится.

— Как прозывается наша деревня-от? А прозывается она, как и прозывалась испокон веку, Обиенной. Энто подтвердят все мужички здешние. И писарь тож. А ну, Иван Евстафьев!

Писарь отвечает поклон ротмистру, потом — миру, и говорит:

— Диковинные словесы речет сходу высокое его благородие. Кабыть деревня наша обретається в нетях. Истинно реку, она, матушка Обиенная, стоит на сем месте от самого Ермака Тимофенча. И прозвание ведет свое от основателя своего Обия, поставившего тут...

— Постой! — прерывает речение писаря ротмистр. — А христианское имя носил он, Обий этот?

— Известно носил. Сельверстом прозывался.

Ротмистр крутит длиннейший ус, шурит правый глаз и говорит, что название деревни «Обиенная» не благозвучно. А

что ежели дать ей имя, поскольку отсутствует оно в кадастре. «Селиверстово?» Это и благозвучно и не лишает памяти об основателе. Как полагаете, старички?

— Селиверстово, дак Селиверстово! — говорит какой-то мужичок. — Хошь горшком обзови, токмо в печку не сади. Да денег не проси...

— Погоди, не шуми! — обрывает остряка ротмистр. — Не с тобой, дураком, речь держу, а со старостой. — Только что писарь упомянул о Ермаке, — обращается он к последнему. — А не слышал ли ты христианского имени его?

— Как же не слышал? Слыхивал. Дед сказывал. А ему правед яво. Чать Ермак был наш устюжанин, удалой опричник Грозного царя. Из роду дворян Олениных. Василей было от купели Христовой имя яво.

— А Ермак?

— То — прозвище, данное казаками. Ермак Тимофеич, хаживая по Волге-матушке реке, любил чтобы казак был у него сыт. И нерадивых кашеваров, сиречь ермаков, бил за плохую кашу. Отседова и прозвище получил.

— По какой же причине он из опричины в казаки подался?

— Да что-то не потрафил царю Грозному, как гласит предание. Ну и должен был бежать. Потом, когда прислал он, Ермак-от Тимофеич, на Устюжину клич дедам нашим на тутошные раздольные и вольные земли, собралось предков наших дымов с сотню, с Устюга-то Великого. И подалось сюды.

— Каким путем?

— Обнаковенным. Через Усолье. До Чусовских Городков, сказывали старики, плыли водой, через Каменные Горы перебрались волоком, опосля снова поплыли по воде рекою Тоболою да Иртышею, где на веслах, где на бичевах, покедова не дотянулись до Казачьих палат на Иртыше-реке.

— А Кучум как?

— Што, Кучюм? Кучюмцы почали подходить к Семи Палатам с Заиртышских степей уже на памяти деда маво. А до того их в степу нашем и в помине не было. Зверья вот — зайца, лисицы, горностая, соболя, барсука, волка — было вдосталь. А людей — ни души. Хошь на сто, хошь на два ста верст подавайся-су в любую сторону — живой души не увидишь. Травы токмо метелились по брюхо коню, да зверье непуганное рыскало промежду них. А заяц о ту пору был настолько смирен, что яво можно было палкой добывать. Для указу же дороги, для порядку, Ермак Тимофеич дал переселенцам по казаку на десяток дымов. Так и шли деды наши почитай все лето: казаки с самопалами, деды — с бердышами.

— А назад отсюда никого не потянуло?

— А чего бы их потянуло туды? Жили они тута вольготно. Сейчас повелись здесь урядники разные, становые. А то вот объявился ешшо мировой судья. А прежде ничего такого туда не было. Управлялись выборными головами, судились у стариков и жили себе да поживали, да добро наживали. Промежду прочим дед мой, царство ему небесное, ездил на Устюгну на побывку.

— И что?

— Не пондравилась она ему: теснота, беднота, татьба, людие почитай все табашники, пьяницы.

— Благодарю за беседу. Птицын! — обращается ротмистр к писарю своему. — Все записал о Ермаке.

— Все, ваше сиятельство!

— То что ты рассказал о нем, — продолжает он, обращаясь к старосте, — интересно, но мало вероятно.

— А энто, как знашь! Почем купил, по том и продал. И интересу не спросил. Да об энтом тебе скажет весь мир, — продолжает староста, обводя рукой сход. — А мир, да ешшо православной, не врет.

— Вы разве православные?

— А как жо! Православные. Токмо без попов живем.

— Вот это-то и плохо. Живете без попов, так скоро заживете и без землицы...

— Как энто без землицы?

— Весьма просто. Приедут сюда землемеры и начнут размежевывать здешние деревни, разбивать на участки принадлежащие кабинету земли степные, для заселения их истинными православными христианами, а не басурманами...

— Энто мы уже слыхали, — несутся выкрики из толпы. — Не резон сие, а запуг. Но нас на мякине не проведешь...

— Тихо! — взывает к сходу шупленький ротмистр жиденькой фистулой.

Сход стихает.

— Чего галдите! — продолжает он. — Православные мы, христиане мы. А ну покажите исповедные книги!.. Нету их? А где ваш храм? Священник?.. Нету и их? А раз нету ничего, что характерно и дорого для христианина, то земли вам не дадут при размежевании. Не в запуг говорю вам, а в предупреждение: не православные земли не получают. Порокую в этом только что вышедший закон!

— Не верим! — возобновляются выкрики. — Кажи нам его! Мы искони служили царям-батюшкам. И Россее матушке.

— Бегая к монгольцам? Стакаясь с ними? Бывали такие дела?

Сход молчит, припоминая грешки свои.

— Что? Память коротка? О том, что совершалось в незапамятные времена, скажем во времена Ермака Тимофеевича, помните, а то, что творили отцы ваши, а может и из вас кто, не помните? Забыли, как бегали полсотни лет тому назад в Китай? Да и сейчас якшаетесь с посланцами его?

Ротмистр, переведя дух, продолжает:

— Послан я сюда не шутки шутить, а призвать вас к порядку — перестать морды воротить от отечества, от царевой службы, отлынивать от православия.

По мере того, как ротмистр говорит, сход обретает речевую способность после первого шока, начинает шуметь. Из-за мирской избы выдвигается несколько здоровенных жандармов при саблях, револьверах. Мужички стихают.

— Не волнуйтесь! — заводит снова песнь свою ротмистр. — Ни храма, ни попа никто вам насильно не навязывает. Оставайтесь без них. Но тогда оставайтесь и без земли, так как Алтайские степи не ваши, а Кабинетские. Кто из вас хочет остаться без попа и церкви, а это равносильно, что и без земли — переходите налево, кто принимает попа и церковь — тот подавайся направо!

Поднимается невообразимый галдеж трехсот глоток. Кое-где начинают вздыматься кверху кулаки, сучиться рукава. Самые же рьяные бегут к соседнему двору, выворачивают колья из ограды. Из-за мирской избы появляется жандармский взвод. Ротмистр поднимает саблю. Гремит ружейный залп. Передние мужички падают на землю. Но не от пуль, а от страха. Сход остепеняется. Ротмистр смотрит на часы, говорит:

— Вижу я перед собой не христиан, не верноподданных царя-батюшки, Александра Николаевича (При произнесении имени государя, ротмистр обнажает голову), а Бог знает что. Я растолковал вам, что и как, и сейчас поеду на обед, а вы обсудите дело, вынесите приговор и завтра пусть староста до-



ставит его мне в писаном виде — желаете ли вы принять священника, построить храм, приходскую школу, дом для попа и за это получить от царя-батюшки землю, или же нет. Оставляйтесь с Богом и будьте благоразумны!

Ротмистр поворачивается, выходит под охраной жандармов из окружения, садится на лошадь и скачет по улице под эскортом их в сторону жандармского лагеря.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Проходит несколько лет. В Обиенной, а равно и в других касмалинских, поверстанных жандармским ротмистром в православие деревнях появляются добротные, из сосняка в обхват православные церкви, школы, поповские дома. Из сооружений этих занятыми оказываются одни поповские хоромы; церкви же полупустуют, а школы и вовсе сиротствуют, ибо в них народ касмалинский детей не посылает. В остальном обиенцы, однако, исполнительны: деньги на содержание церковного причта платят, доставляют ему дрова, отмеряют полной мерой мучицы, картошечки, круп, маслица, сальца, лучку и прочей снеди, когда обходит дворы их поповская подвода, ходят по наряду раз месяца в два в церковь, потом каются в грехах этих появляющимся изредка своим попам. И живут себе да поживают. Как вдруг приходит повестка платить деревне Селеверстово по десятке целковых в год с мужской головы подати, которой Обиенная отродясь не знала.

За податью приходит разверстка на рекрутчину.

— Мати моя! — воют обиенские бабы.

— Анафема ему, ротмистру этому! — орут мужики. — Чтоб ему ни дна ни покрышки!

Но выть воют, орать орут, а сухари все-таки сушат, подати платят, гужевую повинность по постройке уездного тракта из Барнаула в Семипалатинск отбывают.

А потом, когда отправляющиеся в солдаты неграмотными рекруты, возвращаются после семи лет службы в деревню грамотными; могущими растолковать отцам и дедам сколько будет «1955», с медалями на груди, со звонкими имперIALами в карманах, матери отмаливают их в моленных от скверны мирской, а девки, первые красавицы на деревне, зазывающе поглядывают на них на уличных хороводах, на зимних посиделках.

Беда, говорят, не бывает одинокой. Оказывается она не одинокой и для бывших алтайских староверов. Начинается заселение Кулундинских степей, искони считавшихся ничейными, куда мог выйти поохотиться в зимнюю пору на горностаю, на соболя, на лисицу, на хорька всякий житель. И это приносило немалый денежный доход. С заселением степей, с распашкой их дикий промысловый зверь переводится, утка и гусь улетают дальше на север, климат ухудшается, появляются тучи поднимаемого бурей в воздух, застилающего солнце, засыпающего прилесные луговые почвы черного песка.

Мы, однако, забегаем вперед. Случается это несколько позже, в начале двадцатого века. А в то время, когда путешествовал по степям отец Савватий с Цыганком своим, степи эти лежали еще нетронутыми, полнились промысловой дичью, а деревни славились высокой нравственностью, большими семьями, несравненным гостеприимством.



У Сельверста Обия было, по преданию, семь сыновей да пять дочерей, когда основал он заимку, где разрослась впоследствии и приобрела имя его большая староверческая деревня. На севере и на юго-западе заимки этой лежат большие озера; на юго-востоке шумит непреступной стеной вековой нехоженный бор; на северо-западе стелются неограниченные степи, с почвами сначала луговыми, затем — черноземными, аршина в полтора глубиной. А какие дают земли эти урожаи трав, овощей, зерновых! Сам пятнадцать. Не меньше.

Четыре сына его пришли сюда женатыми; остальных переженит он здесь на девицах из смежных заимок, а дочерей пораспихал по другим таким же заимкам.

Прожил сам Сельверст свыше ста лет, оставил семью

Обиевых человек в сотню сыновей, внуков, правнуков и праправнуков.

В доме одного из потомков его, Кондратия Прохоровича Хомутова, в самой большой горнице, носящей название молельни и выходящей окнами во двор, горят восковые свечи, толпится народ, идет вечерня. Правит ее иеромонах о. Савватий. На нем домотканного льняного полотна подризник, домотканная, набойного синего узора фелонь, шитая ручной работы епитрахиль и норучи, в руках небольшое серебряное кадило. Ступает он по половикам молельни, обкаживая ее, в добротных еловых вытяжных сапогах. Лицо у него бесстрастное, глаза повергнуты долу, губы шепчут слова молитвы. С развешенных по стенам молельни староверческих икон, частью чекаемых на меди, частью писанных по дереву, глядят на него еуровым взором лики Спасителя, Богоматери, канонических в староверческих понятий угодников Божьих. На престоле лежит писаное уставом Евангелие в деревянных, обтянутых тисненой кожей досках, стоит дарохранительница, за нею семисвечник, а на жертвеннике — серебряная чаша, дискос, покровцы и прочая утварь.

Все добротное, художественно исполненное, но размещается так, что можно, в случае налета из Волчихи полиции, убрать и спрятать быстро и так, что не только урядник, но и комар носа не подточит. Впрочем сейчас опасаться этого можно меньше всего. Настоятель никонианского храма, вдовый старичек протопоп, человек добрый и доносительством не занимается. Но на всякий случай, чтобы не случилось оплошки, незримая стража стоит во всех нужных местах; когда правит о. Савватий службу. Береженого и Бог бережет.

В других деревнях, где берегутся слабо, полицейские налеты случаются. И нередко. Особенно в тех, где квартирует урядник. Нагрянет он по доносу лихого человека, да так внезапно, что самого священника едва успеют выдворить из молельни, да попрятать самую дорогую утварь. А остальное — разгромит.

Встает вопрос, и это проходит ему даром? Не всегда. Бывают случаи, что и оплачивается. Не сразу, чтобы не подвергать хозяина молельни ответственности, а потом, при удобном разе. Да так ловко, что, опять-таки, комар носа не подточит, а урядник лежит после этого недельку-вторую в постели.

Но всего чаще гроза урядника отводится от старообрядческих молелен серебром-златом.

Отслужив вечерню, о. Савватий укладывается спать. Но спит час-два. Потом поднимается, освежает лицо студенкой во-

дицей и отправляется в молельню для отправления поповедей. Исповедников и исповедниц набирается много. И грехов несут они тоже немало. За два года, что не был он здесь, накопилось их в душах кающихся столько, что они, души эти, в иных случаях не выдерживают и начинают исторгать грехи свои с плачем, стоном, вздыханием. Особенно женские. У последних сих к грехам примешиваются обиды еще. Все это надобно выслушать, истолковать, изяснить так, чтобы грешник отошел от аналогия с чувством не делать грехов этих больше.

К концу исповеди чужие грехи, вкуче со своими, так переполняют пастырскую душу о. Савватия, что она гнет могучую выю его к Евангелию, потрясает стальное тело его рыданиями.

Омыв душу слезами, выходит он на огромный, десятины в три огород. Над ним усеянное мириадами звезд черное предутреннее небо. Звезды горят на нем; мерцают, переливаются, зовут: высь, к Первопричине, к подножию Того, Кто создал и небо это, и населяющие его звезды; и тот воздух — прохладный и чистый, — которым дышет он, — и деревню эту; и исторгающего из кустов смородины изумительные трели соловья, и его, недостойного и многогрешного чернеца... — Господи! — взывает он, вздевая руки вверх. — Как то; что Ты создал, разумно, прекрасно! И как этого разумного, прекрасного не видит, не понимает человек! Как он...

— Чесо изволишь, отче? — раздается сбоку шепот.

Савватий оборачивается. Рядом стоит Сисой и смотрит в лицо ему снизу вверх.

— Мене послал хозяин; утрению пора начинать править, народу набралось эвон скою.

Савватий кладет тяжелую руку свою Сисою на плечо, шагает в молельню и начинает править службу. Молельню наполняют главным образом посторонние; домочадцы слушают утрению через раскрытые двери из смежных комнат; несколько десятков, непоместившихся в молельню, принимают к окнам со двора, отгороженного от улицы высоким забором. Сисой монотонно вполголоса поет, хор из местных певцов помогает ему.

В никонианских храмах утрения правится почему-то с вечера и возглас священника: «Да будет свет!» — приходится часов на 9-10 вечера, когда естественного света, которым управляют Божественные силы, нету и он никогда в это время не появляется.

В старообрядческих молельнях утрения правится утром и возглас: «Да будет свет!» — произнесенный отцом Савватием в тот момент, когда из-за края земли принимают в окна первые

лучи дневного света — потрясает молящихся до глубины души, все падают ниц; потом, когда поднимаются, у многих блестят на глазах слезы умиления.

За утреней следует обедня. Правится она истово, долго, со всеми пеениями и чтениями. К концу ее о. Савватий обращается к молящимся, заполнившим к тому времени весь двор, со словом поучения на тему о Милосердном Самарянине. Проповедником является он незаурядным; многих повергает поучением в слезы.

Служба сменяется общей трапезой на расставленных во дворе столах. За столами седобородые старцы, старухи. Молодежь мужского и женского пола (молодежь, разумеется, всякая, лет и сорока) толпится за спинами сидящих. Во главе одного из столов — о. Савватий; по левую руку его Сисой. Торжественная служба, набожность прихожан растрогали его; за столом сидит он и жгучие глаза свои упирает в стол, хотя из-за голов стариков виднеются расписные красавицы в старинных бабушкиных, а может и прабабушкиных нарядах, извлеченных по такому случаю из сундуков.

По левую сторону Савватия — хозяин, древний, но еще крепкий старец; седая борода закрывает ему всю грудь; волосы на голове его, хотя и седые, но густые, подрезаны под горшок, раскинуты на прямой пробор. На нем добротного старинного черного сукна поддевка, из-под которой виднеется белая набойного по подолу льняного полотна длинная рубаша.

Остальные старики, да и помоложе мужики, тоже в соответственных одеяниях, парни, однако, в цветных гладких сатиновых, расшитых по подолу и по воротнику косоворотках, в плисовых шароварах, в сапогах со скрипом. Но волосы и у них под горшок и на прямой пробор.

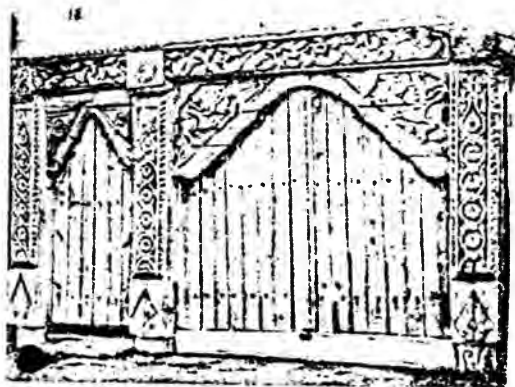
Девки исключительно русоволосые, в косах ниже пояса, в шелковых сарафанах, в парчевых душегреях, в кашемировых платках, в башмаках с подбором. Раскраска одежды пестрая, но не яркая, весьма художественного рисунка. Молодые женщины отличаются от девиц только убранными под расшитые стеклярусом повойники косами.

У мужчин и у парней, что толпятся за спинами стариков, головы открыты по случаю трапезы, но в руках не картузы, а широкополые валяные, с высокими тыльями, светло-коричневые шляпы. Старухи в темных, скрывающих лица до бровей и подбородков, одеждах.

В общем трапезничает истовая кондовая Русь.

Кондовая Русь представлена в деревне не только людьми, но и постройками. Трех-пятистенные дома, амбары, скотные дворы, по местному «притоны», срублены из кондового леса, с

тесовыми крышами. Соломенных крыш в деревне и в помине нет. Зато часто встречаются железные, как у нашего хозяина, Кондратия Прохоровича Хомутова. Двухэтажный, выходящий фасадом на улицу, дом у него на каменном фундаменте, под оцинкованной железной крышей. Стены обшиты снаружи тесом, выкрашены желтоватой краской. Такой дом не стыдно было бы поставить и в городе.



Дом и ворота того времени

Внутри дом, однако, не штукатурен, но распушенные на-
двое кондовые сосновые кряжи уложены в сруб тесаной сто-
роной внутрь и отполированы до блеска.

В доме имеются, разумеется, и полати для детворы, и лав-
ки вдоль стен, и кованые сундуки, но имеются также и гнутые
стулья, и изразцовые герметические печи, и кровати, на кото-
рых спят женатые сыновья и внуки.

Под домом тянется во всю площадь его подвал в рост че-
ловека, в котором столько ходов и переходов, потайных чулан-
чиков, что в них можно спрятать добра на многие тысячи руб-
лей. И не одного человека.

Второй и третий дома, тоже двухэтажные избы, стоят во
дворе владения. Из пяти женатых сыновей, два старших с семья-
ми да «сам» с женой и холостым сыном, помещаются в парад-
ном доме. Три средних сына обитают с семьями в избах во
дворе.

На трапезу вся семья собирается в главном доме в огром-
ной прихожей.

Дойных коров зимует у Хомутовых около сотни, да овец
сотни две. Пашут они землю в десяток плугов в четверку ло-
шадей каждый, и засевают свыше двухсот десятин зерновых
хлебов, накашивают сотни стогов сена.

Кроме того, старший сын хозяина, имеющий уже собст-
венных женатых внуков, занимается по поручению отца пра-
сольством: накупает по весне несколько сот яловых коров,
отары три овец, выпасает их на степной заимке и к осени до-
ставляет гоном в Семипалатинск на рынок.

Туда же ходит в зимнюю пору гужом полсотни саней с
зерном, маслом, салом, пенькой, а оттуда — с красным това-
ром, керосином, сельскохозяйственными машинами для собст-
венной магази, которой ведает один из сыновей.

Семья Хомутовых состоит из сотни душ. Сам Хомутов гра-
мотен по-старообрядчески, разумеется. Сыновья его, внуки,
правнуки тоже обучались и обучаются у доморожденных учи-
телей всем старообрядческим наукам, даже и цифири. По ча-
сти женской грамотности дело обстоит несколько по иному.
Сама хозяйка читает молитвы по писаному полууставом мо-
литвеннику; но ни цифири, ни письму не обучалась. Так же и
снохи, и дочери ее, и внучки, и правнучки обучались и обуча-
ются чтению, но не письму, чтобы не обыкали записочек писать
кому не следует.

Номинально управляет общественной жизнью в деревне
избираемый на сходе староста. А фактически верховодит дерев-
ней Кондратий Прохорович Хомутов да сватья его и зятя, ибо

то, что скажет тесть, то сделает зять, так как закон семьи распространяется в старообрядческом быту и на них.

К тому же Хомутов человек не скупой. Кто из однодеревенцев придет к нему и попросит денег ли по случаю падежа скота или пожара, хлебушки ли в неурожайный год — отказа не получит и интересу Хомутов с него не возьмет. Ну и авторитет его в деревне безграничен.

Таков сидящий сейчас и ведущий беседу с отцом Савватием Кондратий Прохорович. Состояние его, говорят, не убраться в сотню тысяч рублей. А в общем, кто капиталы его считал? Никто! Даже и собственные сыновья. Хранятся они в несгораемом шкафу в спальне его, куда нету доступа никому, кроме покорной ему во всем и молчаливой, как рыба, супруги. И никто о них не будет знать, пока не почувствует старик, что близится смерть. Тогда позовет он сыновей, мать их, ежели будет жива, и распишет: кому, что и сколько. А до той поры ни, ни! Не сыновья они ему, а приказчики, обязанные являться раз в неделю пред очи его и сдавать выручку: один по мангазее, другой по прасольству, третий по ветряным мельницам, четвертый по маслобойне-крупорушке, пятый по ~~занятам~~, шестой по скоту домашнему. И Боже упаси утратить кому из них копейку. Дознается, как дух свят. И поколотит. Попросит кто ежели на дело, даст. А на безделицу — не прогневайся.

Набегает вопрос — все отчитываются, а кто же работает? Работают внуки, правнуки, и праправнуки. И ни одного наемного человека.

Но много ли таких богатеев в деревне? Не много: три, четыре хозяйства сватьев Хомутовских. Вся же остальная деревня тоже не бедна. Редко у кого дом о двух комнатах. У большинства обычно — в три, четыре, пять комнат. Землю мало кто пахает в один плуг.

Разговор ведется за трапезой вполголоса, почти шопотом. Обсуждаются события дня — слухи, что Кулундинские степи начинают заселять со стороны Кулундинского озера. И скоро ли заселение сие дойдет до Обиенной. И что заселяют степи ~~хозяевами~~, людьми черномазыми, безбородыми, с обвислыми, как у татар, усами, по вере и по речи, хотя и странной, кабыть русскими, а по обличью, по одежде — бусурманами.

— Ты вот, отче, ходя по степям, не встречался, случаем, с ними-от? — спрашивает Савватия хозяин.

— Встречаться не доводилось, — отвечает тот. — Но слух о появлении их верен. Могу назвать даже созданные ими селы, к примеру Знаменку на берегу Кулундинского озера, Се-

меновку — малость поодаль от нее. Даве встретил я, идучи сюда, землемеров, нарезающих участки под поселения по Кучук-реке.

И что они?

— Говорил начальник их, что в десяток лет размежуют всю Кулунду.

— И до нас доберутся? Хохлов в суседи посадят?

— Главное не в этом.

— А в чем?

— Об этом потолкуем опосля. А сейчас несколько слов о хохлах. Говорят про них много лишнего; они почитай такие же люди, как и мы; даже и по вере: серед них есть единоверцы, наставники наши...

— Как энто «наставники» — ерошится Кондратий Прохорович. — На лике ни клочка браны и наставники?

— Об австрияцкой Белой Кринице чать слыхивал что-либо?

— А какжо?

— За отцом Досифеем почитаешь благодать?

— Обнаковенно. Святой жизни, старец-от.

— А меня колико-нибудь признаешь за пастыря?

— Отче Савватие! Можно ли вопрошать об энтом?

— Ну вот! А мы оба: и игумен Досифей, и аз раб недостойный, поставлены на священство тама, ибо у нас, ни на Москве, ни на Керженце, ни на Иргизе архиереев правой веры нетути, а тама — есть. Да какие благостные! Обличья Божия не потанят, в перстосложении, в начертании священных книг, в иконописании и в протчем благочестии непогрешимы. Тако ж и чернецы.

— А народ?

— Народ, хотя и скоблит лики, а жизнь ведет тверезую, благочестивую. Никонианский поп ваш, живавший серед них, тажко худого слова о них не молвит.

— В правой вере он нам не свидетель.

— Не свидетель. Слов нет. Но он не враг нам. Промежду протчим, ежели сустретишься с ним, молви поклон.

— Ужо молвил. Спрашиват он поутру, проходя мимо, кабыть в мангазею: — «Не проезжал ли еще случаем о. Савватий?»

«Не проезжал, молвлю, а приехать — приехал».

«Кланяйся ему», говорит.

«Благодарствую, твое преподобие, сказываю. Отец Савватий ~~молвит тебе поклон~~ тоже. И просит на чашку чаю, како выберешь время».

«Буду, говорит, беспрерывно».

— Проси тогда на завтра, на после обедни, — заключает беседу о. Савватий.



На следующий день встречаются два — разных толков — священнослужителя в верхней, укрытой от посторонних глаз горенке, по-братски лобызаятся. Один рослый, еще не старей, крепкий, как из бронзы вылитый; другой — невзрачный, худенький, старенький.

— С благополучным прибытием, отец Савватий! — приветствует гость, облобызавшись троекратно.

— Рад видеть вас, ваше преподобие, отец Симеон, в добром здравии, во благополучии куда лучшем, нежели в прошлый приезд мой, — отвечает на приветствие гостя о. Савватий.

— Истинно, в лучшем. Тогда недужил, сейчас Господь Бог малость попустил.

— Благодарствую за посещение о. Симеон Петрович! Оно приличествовало бы мне первому навестить вас, да боязнь навлечь гнев преосвященного Владыки остановила в намерение сем.

— Владыка не страшен, архипастырь он милостивый...

Отец Савватий спохватывается, что долго держит гостя на ногах и усаживает его за стол, покрытый белой скатертью и уставленный яствами. И сам, попросив старшего по возрасту и сану отца Симеона благословить яства, усаживается напротив него.

— Продолжаю слушать вас, ваше преподобие, — говорит он. — Беседа прервалась наша на разговоре о Владыке.

— Да, да. Желаете послушать еще кое-что о нем?

— С великим удовольствием.

— Владыка — человек и милостивый и разумный. Прошлым летом ездил я к нему по консисторским делам. Дорога была дальняя, утомительная; почитай шестьсот верст на лошадях. Он встречает меня ласковым словом, банькой, а за литургией — наградой, золотым наперстным крестом. Затем везет в колымаге на подворье. Там я благодарю его за милость, за награду и говорю, что недостойн ее. Ну и рассказываю истинное положение в приходе. И что бы вы думали? Не бранится и не гневается, ни на мой счет, ни на прихожан. Больше того, советует не притеснять их. «Трудно, говорит, отче Симеон Петрович, человеку отрешиться в первом поколении от того, в чем жили века предки его. Моя бы, говорит, была на то воля,

я бы и совсем освободил их от обязательств по приговору. Люди они, то есть старообрядцы», молвит, «нравственные, трезвые, работающие, добрые, семьянины, полезные отечеству и государству подданные, ибо там, где крепка семья, там крепкое и государство. А то, что сотворено с ними, то, говорит, сотворено помимо иерархов, волею Обер Прокурора да жандармского департамента.

Немного передохнув, отец Симеон продолжает.

— А вот насчет полиции сказать этого нельзя. Ежели дойдет то, что беседуем мы с вами до ушей урядника, то нахлобучки мне не миновать от станowego. Кстати, недавно получил ее от него за низкую посещаемость прихожанами храма.

— Откуда ж знает он о том?

— Не подумайте, что от меня. От сотских, вероятно. А может сболтнул дьячек или псаломщик.

Промсходит неловкая пауза. Савватий, чтобы скрыть бестактность вопроса своего, усиленно потчует о Симеона рыбицей, маринованными грибками, соленьями, варением, медком, кваском и прочей снедью. Едят оба, впрочем, умеренно. Малой еде отца Симеона удивляться нечего. А воздержанность в пище Савватия, человека монументального, удивительна. Чем только бронзовая мускулатура его поддерживается.

Хозяин сунулся было с засмоленной бутылкой медовухи, но оба гостя от принятия какого-либо возлияния, кроме квасу, категорически отказались. По уходе хозяина, гости встают из-за стола, возносят благодарение Богу, переходят на лавку и продолжают беседу долго и на разные темы. Под конец о Симеон интересуется какою стезею прибыл о. Савватий в Обиенную, ежели не секрет?

— От вас, отец Симеон Петрович, у меня нету секретов. Касмалинской тропой.

— Пешком?

— Пешочком.

— И в градобитие?

— Да. Но мы пересидели его в Дубровинской избушке.

И Савватий рассказывает случай на кладках с Цыганком.

— Господь отвел от беды, — замечает о. Симеон. — Промыслил для того, чтобы вы послужили еще жаждущим утешения людям. А то вот в Морымах погибло два пария, застигнутых градобитием в степи. А в Руселетово мужик поехал в степь на телеге трав лекарственных промыслить. Ну и тоже под град угодил. Сунулся он было под телегу, а лошадь на дыбы. Он за топор да по гужам. Лошадь унеслась невесть куда, а он от-

сиделся под телегой и возвратился восвояси с проломами на голове, с синяками на теле. А то вот землемер еще какой-то, говорят, пострадал в степи.

— **Землемер** пострадал не от града, а от уросливой лошади. Встречал я его там. Что-то усиленно рыщут они по степям нашим?

— Не на добро мужичкам, — замечает о. Симеон.

— Ох, не на добро! — подхватывает Савватий. — Ежели спокуются с полицией, оберут людей старой веры.

— Бог не выдаст, свинья не с'ест. Но мне пора домой. Засиделся я у вас. Приятно было побеседовать с умным собратом, да пора. А то спохватятся сослужащие меня, дьячок с псаломщиком, куда, дескать, батя наш подался? А дознавшись куда, сболтнут что-нибудь Волчихинским собратьям, а те — уряднику. Ну и достанется мне снова на пряники от станового. Давайте, о. Савватий... Хотел было повеличить вас по батюшке, да в вашем монашестве сие не положено. Облобызаемся, поэтому, только. Да благословим друг друга. Приведет ли Господь свидеться еще?

По уходе о. Симеона, видимо, сердечно расположенного к нему человека, о. Савватий опускает голову и задумывается. И сколько не думает, а иного выхода для местного старообрядчества, как путь в никонианство, не находит. И оно, старообрядчество, движется по этому пути. С каждым посещением им мест сих, убеждается он в этом все больше, ибо на исповедь является людей все меньше. Да и кто они, являющиеся на исповедь? Особенно в этот раз? Одни старики да старухи. Молодежь в молельню да на трапезу еще приходит, а грехов своих к старообрядческому аналою не приносит. Вот и нынче. Исповедников было более полусотни и среди них ни одного не только молодого, но и среднего возраста. Люди возраста этого видимо довольствуются исповедями Великим постом у о. Симеона, в никонианской церкви...

Хорошо это или плохо? — набегают вопрос. — Пожалуй... Что, пожалуй? Пожалуй, единство лучше двойственности... «Никтоже может двема господином работати: любо единого возлюбит, а другого возненавидит: или единого держится, о другом же нерадети начнет».. (Мтф. 6. 24). Пусть лучше «Единого» держатся. А то может получиться так, что погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймают. А не поймав, возненавидят и того и другого.



За дверью раздается скрип половицы. Савватий поднимает голову.

— Видать не вельми сыто напитался, отче, от никонианской словесной трапезы-от? — говорит хозяин, входя в комнату.

Савватий тяжело вздыхает.

— Не набубнил он тебе чесо неладного?

— Нет... Человек он добрый и к вам относится с отеческой теплотой. Но скажи, Кондратий Прохорович, что известно тебе о предстоящем размежевании? Идучи сюда, повстречал я в степи землемера.

— Ну?

— Землемер этот сказывал, что велено ему держаться при размежевании нормы в двадцать десятин на мужскую душу, куда входят пахотные и сенокосные земли, солончаки, болота, выгоны и прочие угодия. Не мало это будет? Не для тебя, а для среднего достатка мужичка?

— Дай смекнуть! К примеру у отделившегося зятя ма-во, Никиты Седелкина, пять душ мужска полу. Энто, стало быть, сотня десятин на пай ево, из которых десятин двадцать отойдет на выгон. Запахивает он теперича сорок десятин, да осемьдесят лежит в пустоши либо в перелогѣ, чтобы через два года уродить хлѣпца, как след. А откедова ж взять на огород, на бахчи, на заливные луга? Караул! Да энто зарез для него, для другого, для третьего! Для всего общества зарез!

— Да, да, — зарез. Но от зареза этого можно было бы избавиться.

— Избавиться? Энто как же?

— А ты посмекай!

Кондратий «смекает», морщит лоб, хлопает веками, чешет затылок, но в конце-концов признается, что ничего путного придумать не может.

— Позволь тогда задать вопрос, — говорит Савватий.

— Сделай милость, твое благословение.

— В жандармскую ревизию ты не помнишь сколько записали вы душ мужска полу?

— Помню. Как жо нет. Чать старостой ходил в тот год: без сорока пяти две тыщи-от.

— Следовательно, на две тыщи без сорока пяти душ и получите земли.

— Должно так.

— Ну, а ежели бы записали поболее мужска полу людишек?

— Вестимо поболее получили бы и землицы. Но близок локоть да не укусишь.

— При известном обстоятельстве можно было бы и укусить.

— Энто как жо?

— В каком состоите уезде?

— В Барнаульском.

— Ну так, ежели бы кто из вас потолковее запрег в расписные санки тройку лошадей станковых. Та таких, что б искры метали из-под копыт. И поехал на них по первопутку в уездную управу, потолкался бы там, свел знакомство с кем-либо из кадастра, покатак бы знаконца этого на тройке, завез в ресторацию какую, попотчевал его винцом, показал бы невзначай пару сотенных билетов и завел с ним разговор насчет кадастра.

По мере того, как Савватий говорит, лицо Кондратия Прохоровича светлеет, расплывается в улыбку, под конец хлопает он себя по лбу и бросается наставнику на шею.

— Постой, постой! — останавливает тот старца. — Делать это надобно не горячо, а рассудительно.

Кондратий оседает.

— Много лишку не приписывать. Заметно станет. Да и подушного придет на деревню больше прежнего. Все сие следует хорошенько обдумать до поездки в Барнаул. Стоит ли овчинка выделки. Не выгоднее ли и не проще ли будет образовывать из сыновей и внуков дочерний выселок до размежевания, сохранив в кадастре прежнее число поселян деревни-матери?

Немного подумав, отец Савватий продолжает:

— Одно можно сказать твердо и безошибочно: жизнь мужика на двадцати надельных десятинах станет труднее; к тому же и охотничий промысел пропадет. А чтобы не стало очень трудно жить, вам, отцам деревни, должно уже сейчас крепко подумать об этом.



Через несколько дней заходит к о. Савватию в горенку по вечеру Кондратий Прохорович распаренный банькой припомаженный «деревянным» маслом, подтянутый.

— Пошто так официально? — спрашивает его о. Савватий.

— Ась? — отзывается вошедший.

— Спрашиваю: ты чем-то встревожен?

— Просьбой до тебе, твое благословение. Не мочно ли было бы исповедаться ноне, опосля повечерия-от?

— А не помешают другие исповедники?

— Не. Повелю являться им на исповедь опосля вторых петухов.

Повечерие отходит. Сисой гасит лампы, свечи, кроме трех на семисвечнике, раскладывает в нужном порядке книги для заутрени и оставляет молельню. Стук затворяемой двери пробуждает дремавшего, сидя на табурете у открытого окна, о. Савватия. Он оглядывается.

В моленной никого. Виднеющаяся в окно северо-западная часть горизонта подернута узенькой едва заметной бледно-розовой полоской — остатком вечерней зари. Из-за огородного частокола доносится трель соловья. Со стороны озера ухает раз за разом какая-то птица. Оборачивается к престолу. Над ним мерцают огоньки семисвечника и в свете их несется ввысь, смертию смерть поправ, Спасителя. С левой стороны вдается в стену старинная, Бог весть кем писаная и как занесенная сюда, фреска Первоверховных апостолов. Полуистлевшая доска держит на себе слой темперированной извести. На ней апостолы во весь рост. Одежды их ниспадают с плеч и плавными линиями нисходят вниз, переливаясь в свете семисвечника красными, синими, травяно-зелеными красками, поблескивая на окислах кальция рубинами, сапфирами, изумрудами.

На общем цветном фоне фрески лики апостолов высветлены и сейчас выражают желания: Петра — извлечь меч из ножен в защиту Учителя. Павла... Павел готов каждую минуту, каждую секунду сойти с фрески, взяться за перо и вести поучения, наставления погрязшему в греховных делах миру. Выражение лица у него мудрое, проникновенное.

Раздается скрип. В дверь просовывается сначала припомаженная голова хозяина, а за нею и все тело его.

— Ты здесь, твое благословение? — шепчет он, переступая порог.

Отец Савватий поднимается — свежий, сильный, словно проспавший не полчаса, а всю ночь, закрывает наглухо окно. Исповедь начинается чтением положенных молитв. Затем, исповедник истово крестится, кладет два перста правой руки на Евангелие и начинает каяться после вопроса пастыря. Сначала кается он в грехах личных, семейных, как патриарх огромной семьи; потом, мало-помалу покаяние переходит на грехи, проистекающие от исполнения общественных обязанностей.

— Я, я! — шепчет он сокрушенно. — Один я повинен в погублении веры отцов в деревне-от. И не токмо в деревне, но и во всей округе, ибо, глядя на нас, поступали по нашему и другие деревни. Ни от кого другого, а токмо от мене зависело дать али не дать жандарму тому общественный приговор о приятии никонианского попа, срубить церкву ему. Когда сошлись мы у меня в доме пятером: аз — недостойный раб, упокойный Петрован Телегин, Спиридон Полозов, Харитон Дугин да Агапий Седелкин опосля отбытия со сходу жандарма, и почали судить, будучи святыями, давать ли ему приговор, я настоял, чтобы дать его, думая, что я есмь умнее протчих и что по моей мудрости общество сохранит землю-от и не потеряет веры отцов. И что я как-то удумаю отвести от деревни никонианскую церкву, когда получим землю. Ан оказалось, что церкву никонианскую общество получило, а землицы то ешшо нетути. И неизвестно — получит ли. А ежели и получит, то не моим разумением-от...

— Теперича касательно веры — продолжает он, переведея дух. — Что сталось с нею за сорок лет со времени окаянного приговору? Церква никонианская стоит и аки чума исторгает никонианскую ересь. И ересь энта туманит неразумные молодые головы визгливостью песнопения, краткостью служб, попустительством в питии, в курении, в прилюбодеянии. И кто головной ересиарх всего энтото? Я, я, — мерзопакостный пес, раб сатаны-от!..

При последнем возгласе, Кондратий падает на колени, вздевает руки вверх, возводит очи горе, потрясает старческими кулаками. Потом хватается за голову, рвет волосы, приговаривая:

— Так тебе, сатано! Так тебе псу смердящему!

Молельню наполняет стон, скрежет зубовный, на пол летят ключья седых волос. Отец Савватий хватает его за руки, урезонивает:

— Что ты, рабе Божий, Кондратие! Да нешто тако каются! Такое покаяние угодно не Богу, а супротивнику Его. Покаяние должно отправляться мирно, а не буйно.

Кающийся стонет, норовит удариться головой о стенку, об аналой. Савватий хватает его в охапку, поднимает на воздух, встряхивает аки тряпку. Тот извивается, дрожит, как в лихорадке, пытается лягнуть пастыря ногой укусить его за руку.

— Очкнись же, сказываю тебе! В тебе и впрямь гнездится не Божеское начало, а сатанинское. Прочь оно из тебя!

При этих словах о. Савватий поднимает кающегося до потолка, встряхивает, как-бы вытряхивая из него гниль, и ставит

на ноги. Тот твердо становится на них, расправляет руки, проводит ладонями по лицу, приглаживает волосы и устанавливается взором на Савватия, как будто в первый раз видит его. Вглядевшись, бросается перед ним на колени, хватая за епитрахиль, рыдает.

— Не передо мною рыдай и кайся, а перед престолом Всевышняго на святом Евангелии Господа нашего Иисуса Христа!

Кондратий поднимается, идет к аналою и продолжает каяться уже спокойным тоном о том, что домохозяева его чужаются истинной веры, начинают пить, курить, из под начала старших выходить. А он немощен, что либо поделаться супротив этого. Просит пастыря помочь в этом, молвить с амвона слово в поношение ереси, распутства, своевольтства.



По окончании исповеди в моленной появляется малец и просит от имени отца посетить дом их, в котором лежит больная отроковица. Священник, как и врач, не имеет нравственного права не пойти к больному. И он идет.

Пробираются они кривыми сибирскими переулками, огородами. Ночь стоит темная, звездная, теплая. В огородах шелкают и заливаются трелями соловьи. По деревне лениво брешут псы.

Усадьба, куда приводит отца Савватия разбитной паренек, стоит на берегу озера и принадлежит отцу его, недавно отделившемуся от братьев после смерти деда, мужику. В семье у них четыре брата да пять сестер, кроме родителей. Старшая из сестер сейчас болеет. На вопрос Савватия, чем болеет, следует ответ: «Родимчик приключился», и что «родимчик» этот приключается с нею не впервой.

Всходят на крыльцо. Из-под него шмыгает, свергнув зелеными глазами, и скрывается за углом дома черная, как ночь, кошка. Паренек отворяет дверь. Сенцы. Из них правая дверь ведет в чулан, левая — в жилище. Паренек впускает о. Савватия в левую дверь. За нею прихожая. Над головой полати, под ними большая печь, челом вперед. В правом углу божница из чеканеных на меди икон, лампадка. Под нею обеденный стол. Вдоль стен лавки. Все, в том числе и пол, новое, из добротного соснового материала, вымыто, выскоблено. Из смежной комнаты доносится не то стон, не то хрип удушасемого человека.

Отец Савватий обогнув печь, устремляется в следующую дверь и вступает в комнату со спертым воздухом. На полу ее

клубок человеческих тел. Внизу клубка этого девица лет пятнадцати-шестнадцати, спеленатая полотняным половичком от пяток до подбородка. За плечи держит ее мужчина лет сорока, очевидно отец, за ноги — мать; два юноши наваливаются на нее с боков. Кучу людей обступает детвора в возрасте от трех лет. Лицо и шея больной в крови, глаза заведены под лоб так, что наружу выступают одни белки с кровоподтеками. Из рта торчит окровавленный кляп. Больная, почувствовав появление кого-то чужого, корчится с новой силой, хрипит, запрокидывает голову, выгибает живот с такой силой, что навалившиеся на нее братья взлетают в воздух.

Отец Савватий расталкивает детвору, бросается на колени, возлагает епитрахиль на главу болящей, припадает лбом своим к епитрахили, застывает.

Больная набирает в грудь мешок воздуха, с шумом извергает его вон, члены ее расслабляются, тело мякнет, живот опускается, голова ложится на пол, ноги вытягиваются. Отец Савватий поднимается, не отрывая рук от головы больной, велит всем, кроме матери, изойти из комнаты, открыть окно. Выпроводив людей, становится на колени, вздевает руки горе, устремляет взор куда-то ввысь, замирает. Лицо его, прежде красочное, мужественное, волевое, сейчас — бескровное, безжизненное, восковое. Один взор голубых проникновенных глаз его горит, изливает в пространство потоки энергии.

Потом, глубоко вздыхает он, крестится, встает оглядывается; найдя божницу падает перед нею ниц.

Спустя некоторое время поднимается, велит матери распеленать больную, стереть с нее следы крови, убрать валяющиеся по комнате пасмы волос... Лицо его выглядит обыкновенным, спокойным, волевым. Приоткрыв дверь, зовет отца и известив его, что болящая спит, предлагает переложить ее осторожно на кровать, когда мать приведет дочь в порядок, и не будить; пусть спит сколько сможет. И ни завтра, ни потом не напоминать ей, что было с нею. Поутру же советует прийти в моленную Кондратия Прохоровича помолиться Богу. Как имя больной?

— Гликерия, отче милостивый.

—Споем молебен праведной деве Гликерии, ее же память нынче свершается. Да хранит болящую и вас Господь Бог!

Потом, когда пробирается он тем же путем и в сопровождении того же паренька домой, начинают петь «вторые петухи».



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Днем разговоры с людьми, вечером и утром до самого обеда службы, после обеда и ночью — исповеди. Такого напряжения не выдерживает даже железная воля и титаническая сила о. Савватия. В середине второй недели чувствует он, что надобно маленько передохнуть, отоспаться. А где возможно сделать это, отвлечься от исполнения треб? Не в деревне, разумеется, а в бору.

И вот, бредет он туда. Под ноги попадаетсся ручеек. Савватий идет обочь него. Ручеек бежит, извивается между деревьям, временами прячется под сухими травами, снова появляется и снова прячется на сей раз под валежник. Направо-налево, впереди - позади нерушимый лес. Столетние сосны, прямые, как мачты, стоят одна в одну, что солдаты на Марсовом поле в строю.

Верхушки деревьев этих смыкаются вверху и лишь изредка образуют окна, в которые нисходят на землю косыми золотыми полосами солнечные лучи.

Лучей сих, однако, настолько мало, что внизу господствует постоянный полумрак, не позволяющий развиваться обычному в европейских лесах подлеску. И здесь, поэтому, ни былинки, ни листика не торчит из почвы; одна опавшая за годы и пожелтевшая хвоя устилает ее. Нога мерно ступает, утопая в ней по щиколотку.

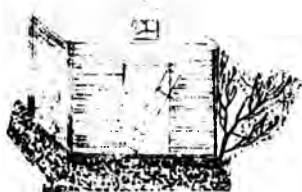
Видимой жизни в бору этом мало: пропищит где-нибудь пичужка и смолкнет; прокукует короткой очередью кукушка и затихнет; стукнет по стволу дерева дятел раз-другой, всколыхнет не в меру смолистый воздух, разнесется стук его эхом и снова тишина, полумрак.

Неведомая и неслышимая жизнь идет, однако, и здесь интенсивно; жуки, пауки, мыши наполняют хвойную заваль; появляющиеся неведь откуда слепни жалят тело даже сквозь подрысник; черви точат сухую древесину под корой так интенсивно, что иногда шелест их улавливает чуткое ухо путника..

Отец Савватий шагает вдоль ручейка по этому, как бы сонному царству часа уже два. Но вот спящий бор внезапно расступается, глаза слепит нестерпимо яркий солнечный свет. Савватий жмурит их, останавливается: впереди голубое озеро;

за ним белый березняк, какая-то изба, куча чего-то черного; над всем этим чаша сине-бархатного неба, по которому разбросаны там и сям платы белых облаков. Овал озера огибает со стороны идущего стена бора, переходя постепенно из желтой в пеструю и замыкается у избы белым березняком.

Савватий направляется к избе в обход озера. Почва постепенно меняется, переходит из песчаной в луговую, подергивается травами, из которых торчат старые полусгнившие березовые пни. Но вот и изба. Дверь ее, ходившая прежде на шипах оси в пятках сгнившего ободверья, вышла из пяток и висит перекосившись на задвижке.

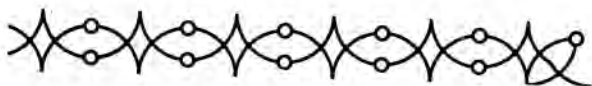


Путник отодвигает ее. Темносерая кошка горбится на лежащем в избе чурбаке, щетинится, сжимается в комок и в мгновение ока летит на него, ударяется об выставленную вперед палицу, падает на землю и уносится из избы между ног его.

«Фу-ты, ну-ты! Какой грозный зверь!» — думает он, когда кошка взлетает на стоящую одаль развесистую березу и скрывается в чаще ее.

Предки зверька этого, когда-то домашние и ласковые, забыли людей, будучи брошенными здесь обитателями избы, дали потомство, одичавшее в результате длительной дегенерации и возвратившееся к условиям обитания далеких предков. Благо в бору этом много мышей, дуплистых деревьев, где можно вывести потомство. Как бы во свидетельство этому, со стороны сосняка доносится кошачий концерт.

Савватий, послушав его, заглядывает в избу. В ней неизбежные полати, полуразвалившаяся печь, врытый в земляной



пол сосновый кругляк обхвата в три, служивший некогда стол; такие же, только размером поменьше, кругляки разбросаны по полу; вдоль стен лавки. Одно единственное в избе окошко заколочено плахами. Земляной пол местами пророс бледными, как бы чахоточными побегами трав. Северный угол сруба прогнил, светится дырами. Изба пустует, судя по состоянию, не один десяток лет.

Странник огибает избу. Вокруг нее черные кучи пережженной березы. У каждой кучи яма, сейчас уже обвалившаяся. Место это являлось в свое время дегтярней. Потом, когда береза иссякла, заброшено. Вот и колея лесной дороги. Но она уже давно не езжена. Выросшей на ней березе десятка три лет.

Глянув на солнце, Савватий спускается к озеру. На берегу пень. Садится на него, черпает рукой и пьет воду. Затем, вынимает из кармана подрясника кусок черного хлеба, пучок зеленого лука, принимается неторопливо полдничать. Поев, возвращается в избу, молится Богу, трогает ногой лежанку, располагается на ней; лежанка скрипит, но выдерживает тяжесть. Засыпает он на ней богатырским сном в первый раз за полторы последние недели.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Цыганок использует свободное время по-своему. Хорошо выспавшись в одном из чуланов хозяйского дома и сытно напившись, выходит он на исходе дня во двор. Из-за частокола виднеется огород, за ним зеленая площадь. По ней прохаживаются группы девок в цветных сарафанах; группы, достигнув известного размера, превращаются в хороводы, внешние крути которых вращаются в одном направлении, а внутренние — в другом.

Проходит какое-то время и вся огромная площадь покрывается хороводами, как цветниками, вертящимися наподобие живых каруселей, передвигающимися с места на место, поющими песни.

Когда хороводы начинали складываться, Цыганок стоял во дворе и смотрел на них через огородный забор. Потом, с развитием действия, перебирается он через изгородь, приближается к нему.

К той поре начинают появляться на площади парни в одиночку, группами, некоторые с балалайками в руках. Хороводы распадаются, образуется общий круг, составляется внутри его оркестр, затеваются пляски. На средину круга выходит парень: сапоги на нем бутылками, подпоясанный вишневая рубашка до колен, шляпа — набекрень. Оркестр наигрывает: «Ах вы, сени мои сени!» Парень, перебирая ногами, ходит по кругу. Круг выталкивает к нему девушку: та жеманится приличия ради, прячется в круг и снова выталкивается из него.

Приличия сим соблюдено, и она выхватывает из рукава беленький платочек и идет по кругу, ~~избегая~~ в ритм песне то вправо, то влево. Круг вторит балалаечникам, покачиваясь тоже то в одну сторону, то в другую.

К одной паре прибавляется вторая, третья. Лирическая песня обрывается, балалаечники темпераментно ударяют по струнам и воздух потрясает плясовая мелодия: «Барыня». Танцующие меняют темп: девушки залихватски выбивают дробь подборами по утрамбованной, как стол, танцевальной площадке, парни идут вприсядку, круг плещет в ритм танца в ладоши. Но вскоре, весьма темпераментного танца этого оказывается мало. Сменяет его «Казачок», в круг взлетает Цыганок — черный, как смоль в противовес светловолосому кругу, со злыми глазами вместо серых. Взлетает он при появлении на сцену в воздух, бьет на лету руками по голенищам, приземляется, ударяет шляпой оземь, идет колесом.

Балалаечники ускоряют темп, танцующие пара за парой выходят из круга, будучи не в состоянии выдержать темп. Цыганок остается один и как дьявол несется по кругу, производя удивительные прыжки, выбивая ногами сатанинскую дробь. Наконец, музыканты, дойдя до предела в темпе, обрывают игру, Цыганок в последний раз взлетает в воздух, делает сальто, с размаху садится на землю, дико вращая черными зрачками. К нему подбегает малый в пиджачке, никонинский пономарь, и протягивает руку помощи собрату, полагая, что тот отбил себе внутренности.

— Не замай, скуфейкин сын! Кишка тонка! — орет он, выкидывает и к музыкантам: — Вдарь ешиш! А ну ешиш!

И «ешиш» ударяется. Только на этот раз не Казачка, а Камаринского.



Отец Савватий, возвращаясь на закате солнца с прогулки, слышит, как с окoliцы деревни ухает песенный набат. И набат этот перекрывает знакомый ему темпераментный баритон.

Возвратясь домой и подкрепившись пищей, надевает он епитрахиль и становится к аналою вечернее правило править. В полумраке отворяется дверь, в нее вваливается человек, падает ниц, ползет по горенке.

— Кто таков? — окликает его Савватий.

— Аз есмь смрадный раб твой, — отзывается Цыганок, пытаюсь схватить за ноги наставника.

— Прочь! Не касайся! Раздавлю аки червя навозного!

— Раздави, отче! Раздави! Сие недостойн есмь жити на свете.

— Что содеял?

— Нарушил твой и Божеский указ.

— Не тужи! Молви! В чем нарушил?

— Песни играл... Трепака драл...

— А больше?

— Большого Бог миловал.

Что вкладывает отец Савватий в термин «больше» Цыганок понимает, ибо за это «большее» был бит не раз. И весьма люто. Тем не менее он никогда не кривил душой, и ежели «большее» приключалось, каялся в нем без вопросов и за наказания не обижался. Грубить он наставнику своему грубил. Но врать никогда не врал. Савватий это знал и прощал ему за правдивость многое.

— Встань! — приказывает он ему.

Тот встает, виновато потупив взор.

— И как тебе не стыдно! — начинает Савватий совестить подопечного. — Как Бога не боишься! Тебе подбирается под полсотни. Дома жена, внуки. А ты, срамник, бежишь туда же, куда бегут юнцы — к девкам, песни орешь, ногами бесовские артикулы выделяешь... Ежели бы этого не водилось за тобой, то из тебя получился бы хороший дяком: службу Божию знаешь, гласы — тоже, голосом Бог тебя не обидел. Но скажи по совести — можно ли тебя, такого неистового, возвести в сан, чего добиваешься?

— Можно было бы, отче.

— Как это «можно было бы»? Поясни.

— Ежели бы ты, отче преподобный...

— Я не преподобный, — обрывает его Савватий. — Не святотатствуй! Говори толком!

— Ежели бы ты, твое благословение, очистил меня.

— Очистил? От чего «очистил?»

— От сидящего во мне беса.

— Свят, Свят! Что я — святой какой?

— Известное дело святой. Очищаешь же от бесов, исцеляешь от недугов других.

— Где, кого?

— Здесь отроковицу бесноватую, в Шаравино — слепого мальчугана, в Завьялово...

— Довольно! Никого я не исцелял и не из кого не изгонял бесов. Я просто вылечивал: одних травами лекарственными, других внушением. Понимаешь ты, дурья твоя башка! Травы, которые собираю по степям и горам, да силой воли над сильными и слабыми натурами. Тебя же к слабым натурам не отнесешь. Да и болезнь твоя не от расстройства какого, а от обжорства, распутства, которые лечатся на травами, а палкой.

— Воля твоя, отче. А во мне не токмо распутство, но и бес сидит. Я почитай всегда говорю себе: не буду этого делать, не пойду к девкам. А он, сидящий во мне бес, берет и переставляет ноги мои супротив воли, ведет туды, куды не хотел бы я.

— Не хотел, а перед этим думал. Думал вчера и третьеводни о девках?

— Известное дело, думал. А как же не думать о них. Чуть красавицы?

— А ты вот перестань о них думать. И бес перестанет переставлять ноги твои. Да постись. Да Богу молись побольше. Вот тебе эпитимия: сотня наметных поклонов сейчас за песни да пляски; и сотня поклонов завтра перед утреней за воспроизведение меня, недостойного раба, во святого. Давай становись. Я буду правило править, а ты поклоны метать... Ах, рабе Божий, Сисое! беспрерывно быть тебе в аду. Сказано же: Аще кто соблазнит единого из малых сих, лучше бы тому повесить жернов на шею и ко дну... Скажи, положи руку на сердце: на гульбище парни да девки как танцевали до твоего прихода?

— Так себе.

— Хуже тебя?

— Известное дело! Где им до мене!

— А с твоим появлением пошли колесом?

— О-о! Где токмо удалъ взялась!

— Вешай тогда, рабе Божий, жернов себе на шею.

Цыганом пиетроно открывает глаза. Черные зрачки его мечутся в свете лампадки, не зная куда деваться.

— Отче милостивый! — шепчет он в страхе. — Благослови почать поклоны метать. Да не едину сотню, а две.

И вот один массивный, в клобуке, читает; другой в длинной рубахе, простоволосый, бьет поклоны. Лампадка в такт поклонов его то меркнет, то вспыхивает, в зависимости от того, куда идет поклон.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В таких вариациях проходит служение о. Савватия Богу и людям в деревне Обиенной. Но вот, когда одна из обеден подходит к концу, прибывает из Волчихи верхом на взмыленной лошади внук Хомутова с известием, что в Обиенную едет сам становой, которого упредил он верхом прямой дорогой может быть на полчаса.

Чады и домочадцы хомутовские в каких-нибудь пятнадцать минут прячут в потайные места утварь, облачение, устанавливают столы в прихожей борщами да рассолами пахучими, и одни садятся за столы, другие уводят задворками из деревни о. Савватия с Сисоем.

И когда через полчаса в доме появляется становой с урядниками, то в нем застает запах не ладана, а шей, и людей не молящихся, а трапезничающих.

Начинается обыск. Урядники шарят по домам, подвалам, амбарам, пригонам, огородам Хомутовской усадьбы. Но тщетно. И «поп Савватка», и подручный его, и утварь, как в воду канули, хотя становой доподлинно знает, что еще час тому назад в доме Хомутовых шла старообрядческая обедня.

От кого знает? Не от протопопы Симеона, а от верного становому человека, Никиты Щербатого, отец которого был принят в обиенскую староверческую общину всего лет полста тому назад.

Никита Щербатый держал в Обиенной, как и Хомутов, торговлю, занимался прасольством. Ну и ненавидел Хомутова,

как конкурента. А ненавидя, доносил на него становому, чтобы сжить того со свету.

Не найдя ничего в усадьбе Хомутовых, становой принимается шарить по домам зятьев да сватьев Хомутовских. И когда шарил так, группа пешеходов пробиравась бором в направлении смолокурни, а несколько всадников скакали в разных направлениях, готовые принять на себя погоню. И всадниками этими были те хомутовские внуки да правнуки, на холодность которых к старообрядчеству жаловался на исповеди старик Хомутов. А молодые односельчане их стояли в укромных местах с ослопами в руках, чтобы преградить путь всякому чужаку, посмеющему пойти вслед за пешеходами.



Мечется старообрядческая Русь по пространству от Карпат до Сахалина и от Ледовитого океана до Тянь-Шаня. И сколько мечется ее по пространству этому, добиваясь возможности спокойно молиться по обрядам своим? Весьма немало. Во время царствования Императора Александра II, когда ходил по Кулундинским степям о. Савватий, металось ее одиннадцать миллионов человек! Одиннадцать миллионов православных душ по верованиям отличающихся от прочей Руси только тем, что осеняя себя крестным знаменем, слагают два перста, а не три, произносят имя Божественного учителя и основателя христианства Иисуса не через два «И», а через одно, читают в богослужении «Алилуйя» дважды, а не трижды, служат литургию не на пяти хлебах, а на семи, ходят при крещении, венчании, отпевании посолонь, а не против движения солнца!

Вот кажется и все, что раз'единяет русский народ в отпадении веры на две части. Но сколько погибло из-за этого людей на кострах, в тюрьмах, в ссылках! Сколько бегают их, не находя места, по снежным просторам Крайнего Севера, изнывает в безводных степях юга, тоскует на чужбине, в окружении приверженцев буддизма, ислама, католичества!

— И напрасно! — заявляют некоторые горячие головы. Из-за обряда бросают землю отцов, идут на костры!

— Не будем спешить с вынесением приговора, а вспомним, что на обрядах этих православная Русь родилась, жила семь столетий, крепла, мужала, явила миру сонм угодников Божьих.

— И шаталась из стороны в сторону, от одного князя к другому.

Шаталась, слов нет. Но шаталась в сфере династических начал, а не религиозных. Историк В. О. Ключевский, исследуя

причину возникновения раскола церковного на Руси, говорит, что до патриарха Никона русское церковное общество было единым церковным стадом с единым высшим пастырем; но в нем в разное время и из разных источников возникли и утвердились некоторые местные церковные мнения, обычаи и обряды, отличные от принятых в церкви греческой, от которой Русь приняла христианство. И в этих освященных временем обычаях и обрядах выражается сущность вероучения, смысл и содержание жизни не только русского человека, но и всякого верующего; верующего, разумеется, не поверхностно, а всем нутром.

И вдруг обряды, сформировавшие человека, начинают ломаться, рушиться, потаптываться ногами не в переносном смысле, а в буквальном.

Так, в 1654 году, когда царь был в походе, патриарх Никон приказал произвести в Москве обыск по домам и забрать иконы неугодного ему письма везде, где они окажутся. Даже в домах знатных людей. У отобранных икон выкалывают глаза и в таком виде носят их по городу, объявляя указ, который грозит строгим наказанием всем, кто будет писать такие иконы.

Больше того, после одной из торжественных литургий в Успенском соборе в присутствии восточных патриархов, Антиохийского и Сербского, случившихся тогда в русской столице, патриарх Никон, прочитав беседу о поклонении иконам, произносит, как пишет Ключевский, сильную речь против неугодной ему русской иконописи и предает церковному отлучению всех тех, кто впредь будет писать или держать у себя такие иконы. При этом, ему подносят отобранные иконы и он, показывая каждую из них народу, бросает ее на пол с такой силой, что икона разлетается на куски.

Никон из одной крайности — изгнание из обихода неугодных ему икон нового письма — бросается в другую крайность. Свое архипастырское вето распространяет он и на старые северно-русские рукописные богослужебные книги. И весьма грубо.

Так, в один далеко не прекрасный для русского православия день появляются в московских храмах патриаршие доверенные и без обиняков забирают старые книги, заменяют их новыми и уходят, не сказав ни слова.

По их уходе, священники разворачивают врученные богослужебники и приходят в ужас. В книгах все по иному. По иному велят складывать персты, осеняя себя крестом, по иному ходить, отправляя службу, по иному совершать проскомидию, по иному молитвы читать.

Рядовая Русь в те времена, да и в наше время, слабо отличается богослужебные книги от священного писания. Поэтому, мероприятия Никона возбуждают вопрос: неужели и божественное писание неправо? Что же после этого есть право в русской церкви?

Тревога усиливается, по свидетельству историка, еще тем, что все свои распоряжения патриарх проводит порывисто, с необычайным шумом, не подготавливая к ним общества, и сопровождая акции жестокими мерами против ослушников. Оборвать, обругать, проклясть, избить неугодного человека — таковы были обычные приемы его властного архипастырства. Так он поступает даже с епископами. Например: преосвященного Павла Коломенского, возражавшего ему на соборе 1654 года, лишает он без соборного суда кафедры, предаёт «лютому биению», засылает куда-то на север, где он, по свидетельству протопопа Аввакума, гибнет на костре.

Как же относилась к Никоновскому бесчинству православная Русь того времени? Весьма тревожно. В Москве, например, тогдашнем барометре общественного настроения, собирались самочинные сходки, на которых бранили патриарха, говоря, что случившиеся о ту пору мор и затмение — как кара Божия за нечестие Никона, поругающего иконы, богослужебные книги. Собирались даже убить его, как иконоборца и извратителя священного писания.

Эта толпа. А теоретики того времени — иноки Соловецкого монастыря, например, пишут в 1667 году челобитную царю, Алексею Михайловичу, в которой говорят, что «Ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной вере, точно мы мордва или черемиса, Бога не знающая; пожалуй придется нам вторично креститься, а угодников Божиих и чудотворцев из церквей изнести».

Еще более энергичное возражение изгонителям старины из церквей оказывает упоминавшийся уже протопоп Аввакум. Он в свое время высоко летал, был вхож к царю, Алексею Михайловичу, вращался среди проталкивавших Никона в патриархи сфер, давал подпись на челобитной царю при избрании его в патриархи.

Потом, когда тот воссел на патриаршем столе, распоясался и затеял церковную реформу, отшатнулся от него и обратился всей своей страстной и неистовой натурой на борьбу с ним, был гоним, бит батогами, расстрижен, претерпел около тридцати лет ссылки, тюрем и наконец сожжен в 1682 году на костре.

Из-под пера его вышло немало богословско-полемических сочинений, вошедших в историю русской литературы под именем: «Жития протопопа Аввакума». В них протопоп Аввакум защищает правую веру и страстно поносит Никона приверженцев его и даже самого царя.

Так, в Пятой челобитной пишет он царю, Алексею Михайловичу, между прочих просьб и жалоб:

«Что есть ересь наша или кий раскол несохом мы во церковь, якож клеветуют о нас никонианя, нарицают раскольниками и еретиками в лукавом и богомерском «Жезле», а инде и предтечами антихристовыми?»

Под именем «Жезла» Аввакум имеет в виду название поданного царю полемического трактата Симеона Полоцкого против раскольников.

Дальше поведем изложение полемики Аввакума не в подлинных выражениях, а в интерпретации ее на более современный диалект.

«Не постави им, Господи, греха сего, не видят бо бедные, что творят, — пишет он дальше. — Ты, государь, примешь на себя суд Божий за всех за них, ежели такую дерзость разрешишь им против нас. Не чувствуем мы в себе и следа ереси. от коей обороны нас Сыне Божий, а равно и от раскола, нечестия этого. Бог нам в этом свидетель и Пречистая Богородица и все святые! Ежели мы раскольники и еретики, то и все святые отцы наши и прежние цари благочестивые, и святейшие патриархи таковые суть. О, небо и земля, слыши глаголы сии потопные и языки велеречивые! Воистину, царь-государь, глаголем тебе: смело дерзаете, но не на пользу себе. Кто бы посмел из них произнести такие хульные глаголы на святых, ежели бы не твоя держава попустила тому быть. Воимни, государь, с какою правдою желаешь стать на страшном суде Христове пред сонмом ангелов и пред всеми племенами людей верных и неверных? Если в православии нашем, в отеческих святых книгах и в догматах есть хоть одна ересь или хула на Христа Бога и церковь Его, ей рад за них прощения просить пред всеми православными, а так же и за то, если мы внесли какой раскол в церковь. Но нет, нет! Вся церковная правда в нас, рассуждающих истинно и здраво мыслящих по Христе Иисусе, а не по стихиям сего мира! За нее же страдаем и умираем, и кровь свою льем»...

Тут надобно заметить, что во мнении старообрядцев и простого народа того времени, православными оставались старообрядцы, а никониане являлись суть новообрядцами, раскольниками.

Так оно, разумеется, и было, если взглянуть на раскол глазами не сильного, а правого. Кто вводил новизну в церковную жизнь? Никон, а не Аввакум. Кто добивался изменения церковных обрядов, идя на заведомый раскол церкви? Тот же Никон. Аввакум же и последователи его защищали лишь то, в чем жила церковь русская веками и чего продолжало держаться тело ее — народ в дни раскола. И не только народ, но и многие княжеские и боярские роды, такие как Хованские, Мыщенские, Морозовы, Урусовы, Милославские, немалая часть высшего духовенства, весь сельский причт, сестра государя, Ирина Михайловна. И все эти люди были исконными великороссами, глубоко преданными православной церкви христианами.

Этого нельзя сказать о приверженцах патриарха Никона.

Никон, заняв патриарший престол в 1652 году, затевает церковную реформу на Руси, в чаянии претворения в жизнь возникшей еще при великом князе Василии Третьем и сформулированной Филофеем, иноком Елизарова монастыря на Псковщине, доктрины о наследственном переходе к Москве после падения Царьграда титула Третьего Рима. Но встретив резкое противление реформе со стороны северной ветви русского народа, ищет идеологической поддержки в проведении акции у южной и западной ветви его. И как человек неразборчивый в средствах к достижению цели, привлекает на службу к себе из южного и западного краев тогдашней Руси людей, хотя и ученых, но весьма легко вступающих в сделку с собственной совестью. И одним из них оказывается западный монах Симеон Полоцкий, в миру Самуил Петровский-Ситкианович. Сего Ситкиановича протопоп Аввакум характеризует в «Житии своем» (стр. 331 и 332) так:

«А Семенка чернец, оттоле выехал, от римского папежа, в одну весну со мною, как я из Сибири возвратился. И вместе я и он были у цареvy руки; и видеv он ко мне цареvy приятные слова, прискочил ко мне и лизал меня. Я ему реку:

«Откуда ты, батюшка?»

Он же отвеща:

«Я, отеченька, из Киева».

А я и вижу, яко римлянин. У Федора Ртищева с ним от писания в палатке до тово считалися, — все блюдет по уставу римскому».

«И года с полтретья минув после тово, приходит со Артомоном от царя во узилище ко мне, на Никольский двор... И в беседах с ним я ему говорил:

«Вижу, яко римлянин ты, и беседа твоя яве ты творит».

Отвеща и рече: «Вся земля Божия и концы ея».

Прочих достопочтенных сотрудников Никона на ниве «выправления» церковных обрядов на Руси характеризует историк В. О. Ключевский в лекции 55-й «Курса» своего общим мазком:

«Ближайшими сотрудниками Никона в проведении его церковных нововведений были южнорусские ученые, о которых знали в Москве, что они тесно соприкасались с польским католическим миром, или такие греки, как упомянутый Арсений, бродяга-перекрест, бывший католик и по слухам даже басурман, доверенный книжный справщик Никона».

Окружение русского патриаршего престола подобного рода «деятелями» не могло не колоть глаз близким к патриарху исконно русским иерархам, боярству и даже царю-батюшке. К тому же, Никон возымел желание перейти от символического главенства церковной иерархии в государстве русском к действительному, что поставило бы его самого выше царя. Это переполнило чашу терпения «Тишайшего» и всего думного боярства. И Никон пал. Да так бесславно. Историк Ключевский об этом пишет:

«Самую идею вселенской церкви, во имя которой предпринято было это шумное дело, он (Никон) понял слишком узко, по раскольников, с внешней обрядовой стороны, и не сумел ни провести в сознании русского церковного общества более широкого взгляда на вселенскую церковь, ни закрепить его каким-либо вселенским соборным постановлением, и завершил все дело тем, что в лицо обругал судивших его восточных патриархов султанскими невольниками, бродягами и ворами: ревнуя о единении церкви вселенской, он расколол свою поместную.»

С падением Никона, к сожалению, не пала среди правящих московских кругов, как церковных, так и светских, идея о Вселенской Церкви. И это окончательно раз'единило русскую церковную общественность на два лагеря — старообрядцев и новообрядцев или никониан.

Выше упоминалось, что в начале раскола народ русский стоял на стороне старых обрядов.

Да. Но сила и соломой ломит. Мало-помалу официальная церковь, в опоре на государственную власть, усиливалась, а старообрядчество ослабевало, лишалось интеллектуальных сил, дробилось и в конце-концов распалось на секты белокриницкую, беглопоповскую, беспоповскую и другие.

В завершение краткого экскурса в историю раскола, долж-

ны отметить, что старообрядческая полемическая литература приведенными выше образцами не исчерпывается. Ее было гораздо больше. Перу одного протопopa Аввакума принадлежит огромная книга. А протопop Никита, прозванный противником его «Пустосвятом», а диакон Федор, а Лазарь, а Епифанний, а боярыня Морозова, а многие-многие другие! Но произведения их сожжены вместе с авторами и до нас не дошли.

Могло ли быть на стадии падения Никона какое-либо примирение между враждующими сторонами?

Могло, но только ценой полной капитуляции никониан. Старообрядцы не шли ни на какие компромиссы: отправлялись на костры, но не сдавались, хотя вождю их делались официальной церковью заманчивые посулы. Он, однако, отвергал их, отвечая царю:

«И ты не хвались, ибо пал очень глубоко, не восстав против искривлений Никона, богоотступника и еретика... И не прогневайся, что богоотступником его называю. Если правдиво спросишь, и мы скажем тебе о том ясно с очей на очи и усты к устам; а если нет, то пойдем на суд ко Христу: там будет тебе тошно, да тогда не пособишь себе ни мало. Здесь ты нам праведного суда с отступниками не дал и ты там отвечать будешь за то перед всеми нами. А льстецы и заискивающие, каким судом судят нас, таким судом будут судимы Христом и святыми Его... Несть бо уже нам к ним ни единого слова»...

«Ох, ох, бедные! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев!» — восклицает он в «Беседе четвертой».

Последнее восклицание показывает, что борьба шла между никонианами и старообрядцами не только по линии внутренней, но и внешней. Вожди старообрядчества ясно видели, что на Русь, на патриархальный быт ее надвигается, вместе с идеей Вселенской церкви, иноземщина с табачищем, с вином, с развратом. И что иноземщина эта пробирается в московские посады, создает свои слободы, завладевает вооруженной силой, подкрадывается к Кремлю.

Но все-таки осевым стержнем церковной борьбы являлась обрядность. Церковная обрядность, как говорилось уже, в жизни северо-русского автохтона была основной. И вдруг чувствует он, что основа эта рушится, выбивается из-под ног, куда-то уплывает и ее заменяет что-то новое, незнакомое, чуждое.

Попробуйте известное вам с детства стихотворение, чтение которого пленяло вас, как говорит Ключевский, чаровало, переложить на прозу. И от него ничего не останется: ни звуч-

ности, ни музыкальности, ни теплоты. И такое стихотворение вы возьмете и выбросите в корзинку.

Но церковный обряд не стихотворение и его в корзинку не выбросишь. А ежели и выбросишь, то вместе с ним выбросишь и душу свою.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

День клонится к вечеру, бор шумит, верхушки сосен качаются, но не из стороны в сторону, а в круговорот, как бы в водовороте. Отжившая хвоя порошит вниз на головы, на плечи продирающихся сквозь лесную чашобу людей.

— Пимен Петрович! — обращается отец Савватий к сопровождающему его внуку Хомутова, мужику лет сорока пяти. — Не к дождю ли бор шумит?

— Беспременно к дождю, отче, — отвечает он. — Завсегда к дождю бывает, ежели бор-от шумит с полдня.

— Я что-то не разберу, откуда шумит он.

— С полдня. Вишь вверху на ветке кобчика?

— Вижу.

— Куды главой он?

— На полдень.

— Оттедова и бор шумит. Кобчик завси садится супротив ветру. И никогда — по ветру. Хоть бы и самому, что ни на есть махонькому. Энто, чтоб ловчее было взлететь.

С прибытием путников на смолокурню, начинает урчать гром, сверкать молнии, накрапывать дождь, вскоре переходящий в ливень. Дырами северного прогнившего угла хлещет в избу вода и проделанным уже давно ходом в земляном полу, уходит под сруб. Крыша, к благополучию путников, не течет, и они располагаются, кто где может, на ночь. Отец Савватий зажигает свечу и становится на молитву. Изба затихает, снаружи бушует непогода, уютившиеся под навесом, следовавшие за путниками псы-волкодавы рычат, затем уносятся в темноту.

Сопровождавшие Савватия люди вскакивают с мест, хватаются за ослопье, бросаются наружу. Дождь льет, как на ведра. Собаки рычат, где-то в лесу.

— Не на станového ли исполнились они? — замечает самый младший из провожающих.

— Ен сюды дороги не знает, — успокаивает его Пимен Петрович.

— Ен то не знат, тять, да пес Щербатый, знат. Моя б на то воля — разможил бы я ему башку!

— Не гневи Бога, рабе Божий, — урезонивает парня о. Савватий. — Разве можно такое даже помыслить.

— А пошто ж соглядает ен. И становому доносит... Но я — что, — успокаивается он через минуту. — Токмо в сердцах сбrehнул. И ветер унес. А мир, попомните слово мое, расправится с ним: либо мангазею его сожгут, либо самого порешат. Сговор о том идет. Ен, окромя доносу, рассказывают ешшо и конокрадством промышлят. Пропавших летось деревенских лошадей кабыть ен угнал к киргизам.

Переночевав на смолокурне и расставшись с провожатыми, Савватий продолжает на следующий день путь на юг.

— Эх ты, отче-отче! — вздыхает едва поспевающий за ним, ленивый на ходьбу Цыганок.

— Чего тебе? — отзывается тот.

— Понапрасну отказался еси от лошадей, что сулил Пимен.

— Ты никак впервой со мной ходишь?

— Не в первой. Да становой же под боком.

— Бог милостив.

— Бог то оно Бог, а ежели бы на лошадях, то и ускакать можно было бы. А то, — продолжает Цыганок, обводя пространство вокруг себя рукой, — лесная редина то кака-от приспела. Зустретится в ей становой, куда телеса свои поденем?.. Утечем?.. В редине энтой ноги не помогут а ни мало.

— Суесловишь ты, брате мой, зело много.

— Суесловишь, суесловишь... А ты в твердостоянии своем разум теряешь...

— Что?! — вопрошает грозно пастырь, оборачиваясь на ходу.

Стальные ноги пасомого во мгновение ока бросают его в сторону.

Дальше идут молча. До Малышева Лога добираются благополучно. Там повторяется то же, что и в Обиенной. Только становой не появляется. Да и ведут себя в деревне сей странники переходные поопасливее: на улицу не показываются, общественных трапез не устраивают, остаются в ней не столь продолжительное время.

Так переходят они от деревни к деревне, перебираются из Касмалинской лесной полосы в Барнаульскую лесополосу. И тут на открытом месте настигает их тройка с колокольцами. На облучкѣ ее — ямщик, рядом с ним дюжий сотский с бляхой на груди, в кузове экипажа — становой, два урядника.

— Стой! — командует пристав, поравнявшись с пешеходами.

Те останавливаются, ибо бежать было некуда: кругом открытое место; отец Савватий стоит безбоязненно; Цыганок — нервно передергивает плечами, переминается с ноги на ногу.

— Кто такие? — спрашивает становой.

— Аще реку тебе, что здешние мужики сие будет неправдой, — отвечает Савватий. — Аще же реку, что ни тати, ни беглые каторжане, то сие будет сущей истиной.

— Верю, — отвечает становой. — Старообрядческие попы?

— Аз есмь поп; сей же раб Божий, — продолжает Савватий, показывая на едва живого от страха Цыганка, — благочестивый мужик из Бутырского стану.

— Благодарствую за правдивость. Куда путь держите?

— Меряем землю, твое благородие. Куда позовут, туда и идем, какая весь отворит врата, туда и устремляем стопы.

— Так, так! Что ж по весям этим поделываете?

— Служим, поелику можем, Богу. И ближнему своему.

— Ну и служите. Лебязье вам не по пути?

— По пути.

— Подвез бы, да видишь телега полна, — продолжает становой, тыча концом сабли в животы сидящих на передней скамейке урядников. — Давай трогай! — велит он ямщику. — Счастливого пути. Если кто в части моей станет, по неразумию своему, цепляться к тебе, сошлись на меня, станового пристава.

Савватий делает поклон, касаясь рукой земли, экипаж трогается и курит пылью по накатанному большаку.



Кулундинская степь отцвела уже к тому времени, выметала поверх зеленой ковыльную метелку и теперь метелится насколько хватает глаз разлитым молочно-палевым морем; знойный ветерок пробирается по нему с юга-запада, гонит ковыльную волну за волной, обжигает лицо; кузмечики, распластав крылья, висят на ветру разноцветными мазками, тянут бес-



Буиный ковыль



Протопоп (протоиерей) Аввакум у разгорающегося
костра, на котором он будет сожжен.

конечную песнь свою. Жаворонки уже не поют, а перелетают с места на место семьями, неторопливые, жирные, держа путь на юг.

Грачи и скворцы собираются станицами, окутывают сизо-черным покровом пригорки, вздымаются в небо, застывая солнце. Огромные косяки уток, гусей, журавлей, тянутся к вечеру со стороны озер и болот на зреющие спелым колосом хлеба. На прибрежном озере плавают, изогнув шеи, царственно-величавые лебеди.

Цыганок наш плетется степной дорогой ленивой походкой, как всегда. Отец Савватий бодро шагает обочиной, местами наклоняется, срывает нужную ему траву.

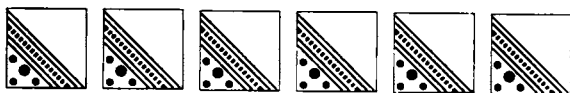
— Отче! — подает голос Цыганок. — Подумать бы время о ночлеге.

— Думаю, брате. Что, восхотел уж ясти?

— Не то, что я, а кишка моя.

— Колок на горизонте вои видишь? Там будет вода, дрова, шалаш. Хотя и дрянной, но от утренней росы и прохлады обережет. Там и заночуем.

Через некоторое время у шалаша этого курит костер, варится чай, жарится рыба, идет неторопливая беседа на тему, что и святой Иосиф Обручник и Дева Мария тоже трудились в пути, идя в Египет.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В Семипалатинск вводит о. Савватий спутника своего затемно. Поселение сне, хотя и числится городом с начала 18 столетия, но мало чем отличается от большой сибирской деревни. Разве что полицейской будкой у областного управления, да тюрьмой на окраине.

И еще в одном Семипалатинск отличается от сибирской деревни. Принцип застройки последней обычно гнездовой. Семипалатинск вытянут в линию, имеет главную улицу.

Пробирается о. Савватий в поисках пристанища задворками, приглядываясь в темноте к силуэтам построек. В одном месте сворачивает в переулок. Справа стена амбаров, лабазов,

клетей и подклетей. У дверей в глухом переулке Савватий дергает за висячую ручку. В глубине двора звякает звонок, лает собака. Через некоторое время за забором шаркают ноги, раздается голос:

— Кто асте?

— Во имя отца и сына! Странники Божие, — отвечает Савватий.

Гремит отодвигаемый засов, дверь отворяется, по ту сторону ее старик, пытливо вглядывающийся в пришельцев.

— Аль не признаешь? — спрашивает его Савватий.

— Отче... Как бишь тебя... Запомню?

— Савватий.

— Милости прошу, отче Савватие. А с тобой кто?

— Причетник, раб Божий Сисой.

— И ты давай проходи... Самого-от нетути о сю пору дома, но к утру он будет, — продолжает старик, вводя гостей во двор. — И вы не сумлевайтесь. Примут вас и без него. Айдайте в хоромину.

Дальше совершается все по порядку: следует баня, ужин, ночлег в богатых купеческих апартаментах. Наутро беседа с ховянином, Галактоном Герасимовичем Турбиным, купцом первой гильдии, почетным гражданином государства Российского. Персона он солидная — собственник не одного медно-рудного завода в горах, ряда паровых мукомолен, около десятка речных пароходов, несколько сыпных хлебных пунктов вдоль Иртыша. В общем — миллионщик.

Персона он крупная не только по капиталам, но и по комплекции: ростом в косую сажень, плечист, еще не стар. На нем добротная суконная поддевка, высокие сапоги со сборами, на голове копна светлорусых волос в кружок. С Савватием троекратно лобызается, Цыганку солидно подает руку.

— Пошто не известил о желании посетить нас? — начинает корнть он Савватня. — Экипаж бы выслал, начальника области упредил. А то можно было и в кутузку угодить.

— Никто как Бог, — оправдывается о. Савватий стереотипной фразой. — Не люблю я, как ты знаешь, экнпажей. К тому же, чтобы приобрести у мужичков признание, надобно потрудиться.

— А сии последние как?

Савватий разводит руками.

— Пошто так?

— Меркнет вера правая, рушатся обычаи дедовские, гложет чистота девическая.

Монах конфузится, озирается, нет ли кого постороннего в гостиной и продолжает, понизив голос:

— В одном месте приводится крестить байстря, в другом — венчать молодых в прикрытие внебрачного греха. Ну и заводится невиданная доселе татьба, доноительство.

— В староверческих деревнях?

— В приговорных. Да что ж отрещиваться от них; мы-то отрестимся, а люди приговорных, то бишь никонианских, и неприговорных-староверческих деревень живут обочь, роднятся между собой, заимствуют друг у друга дурное легче, нежели доброе, ибо дьявол неволит человека на дурное настойчивее, нежели ангел-хранитель — на доброе.

— Какие ж меры супротив этого мыслишь?

Отец Савватий снова разводит руками.

— Поворотить приговорных в староверческое лоно! — изрекает купец.

— Какою мерою?

— Какою мерою, какою мерою! Тебе это виднее какою! Спалить поносные храмы их, выгнать попов!

— Учредить бунт, на который властепридержавшие отзовутся высылкой воинской силы? А что потом? Потом может быть и такое, что бунтари, пожегши никонианские храмы, поповские хоромы и тем не насытив утробы разрушения, пойдут палить дома богатеев, мангазен их, скотные дворы. А там, глядишь, доберутся и до мукомолен твоих, сыпных пунктов.. Зверь пока в клетке не опасен. А выпущенный из нее — делается ненасытным к буйству.

Купец слушает нравоучение, хмурит чело, потом спрашивает:

— Когда мыслишь быть у Досифея?

— Ежели Господь сподобит, то надобно было бы перевалить Листвягу до Покрова.

— К началу Филипповок просит он быть в обители на с'езде. Передай, что буду. И там обсудим никонианский науст. И решим, что и как. Коим путем-дорогою продвигаться мыслишь дальше?

— Ежели милость твоя не оскудела, то подбрось до Бухтармы суденышком.

— Добре. «Турбин и сыновья» поплывет вверх денька через три. До этого отдохни. Может службицу споешь в воскресенье?

— Беспременно. Ежели сыщутся богомольцы, то и не одну.

В воскресенье домовая церковь в одном из крыльев трехэтажного купеческого особняка полнится народом. На правом

клиросе поет в унисон хор из купеческих служащих. Сисой торжественно читает.

На левом клиросе сам Турбин, старший сын его уже женатый, тоже, как и отец, в поддевке, в бороде, в волосах под горшок; младший сын — в студенческой тужурке Петербургского Политехнического Института. Тут же две женщины в парчовых одеждах — одна пожилая, другая помоложе; их окружает лестница девушек лет от трех до двадцати; самая старшая из них рябая, некрасивая; сыновьям, чмоныше и внукам места на клиросе нет, и они толпятся позади него, под присмотром дядьки — здорovenного сибиряка в поддевке.

Церковь делится от паперти до середины перегородкой в рост человека. Левую сторону ее занимают женщины, правую — мужчины, служащие фирмы «Именитого Купца и Гражданина, Галактиона Турбина с сыновьями»; исключение составляют несколько других купеческих семей города.

Службу правит о. Савватий чинно, проникновенно, так четко, что всякое слово, как бы чеканит. Вся церковь, когда настает время, причащается.

После службы следует в большом зале трапеза для присутствовавших за обедней и для городских властей. Столы стоят рядами. Главный из них занимает городская знать, во главе с начальником области седым генералом; по правую руку его полицеймейстер; по левую хозяин; рядом с ним — о. Савватий, несколько городских купцов. Сторону полицеймейстера продолжают старшие областные чиновники. Столы сверкают фамильным серебром, хрусталем, полнятся яствами, французскими винами, вместо медовухи.

На обеде генерал держит речь о процветании в области торговли и промышленности, о месте в ней фирмы купца и именитого гражданина Турбина. По этому случаю присутствующие поднимают бокалы шампанского.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На рассвете одного из дней рев пароходного гудка потрясает воздух, пароход отдает концы, отваливает от пристани, плывет вверх по течению Иртыша.

Иртыш большая транспортная река. Берет начало он в ледниках Монгольского Алтая, тянется до Зайсана под именем Черного Иртыша, после него течет под собственным именем на протяжении трех с половиной тысяч верст и впадает далеко на севере в реку. Обь. Среднегодовой сток его достигает у города Тобольска 2.280 кубометров в секунду. Протекает он у Семипалатинска в пологих песчаных берегах, разливается вширь и катит воды спокойно, как и подобает степной реке.

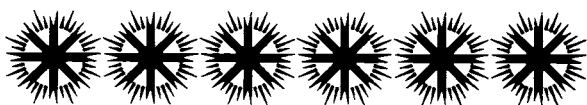
Пароход плывет по нему здесь споро. Но на второй день вступает он в горы, стискивающие реку с обеих сторон. Река мечется в объятиях гор, пытается вырваться на простор. На подступах к Усть-Каменогорску пароход оказывается на самом бурном участке реки. Воды ее бешено мчатся здесь руслом в каких-нибудь сотню саженей. Местами отвесные берега вздымаются над ними на многие тысячи футов. На сколько вздымаются с парохода судить трудно, ибо вершины их не видимы. На южных склонах Алтая засуха, горят леса и дым пожарищ застилает горы, так что смотрящий вперед или назад видит не реку, а вьющуюся из стороны в сторону гигантскую трубу, низ которой занимают клокочущие воды, бока — отвесные скалы, а верх — пелена дыма. Солнце при этом не видать, что создает впечатление будто пароход вступает в преисподнюю, что скоро появятся тени усопших и среди них — бог подземного царства, владыка теней, грозный Аид со скипетром в руках.

В кутерьме сей пароход продвигается версты по три в час вторые сутки. На третьи раздается душераздирающий крик, тревожный гудок, пароход бросает якорь, спускает спасательную шлюпку.

На корме его едут в Зайсанье переселенцы. Одна из баб, помыв белье, вешала его на палубе и каким-то образом ухитрилась свалиться в бешено мчащиеся воды реки. Поиски ничего не дают. Шлюпка борется некоторое время с течением, не может преодолеть его, уносится вниз, скрывается в дымчатой мгле. Муж утонувшей мечется по корме, рвет на себе волосы, детишки кричат: мама, мамочка!

Пароход снимается с якоря и продолжает вверх по течению нелегкий путь свой. Отец Савватий, возвратившись в каюту, запускает руку в кису, выгребает из нее пригоршню имперялов, отправляется утешать несчастного мужа и отца.

К концу четвертого дня пароход, преодолев самый тяжелый участок пути, Усть-Каменогорск — Усть-Бухтарма, останавливается у пристани. Путники взваливают котомки на плечи, бредут в деревню. Как и везде, о. Савватий и в Усть-Бухтарме находит приют у единоверцев. Отсюда предстоит ему и спутнику его подняться долиной Бухтармы на перевал хребта Листвяга и спуститься в бассейн Катуня, притока Оби.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Старообрядческая жизнь протекает в горах Алтая более вольготно, нежели в Кулундинских степях. Степь хотя и воспевается, как прибежище вольницы, но вольная она и раздольная только в песнях. На самом же деле степной житель открыт отовсюду не только ветрам, но и полиции. И деваться ему, в случае полицейского натиска, некуда. Ну и должен он уступить силе, поступаться в ее пользу рядом суверенных прав своих.

У горцев иное положение. В горах каждое ущелье, каждая падь, каждый кустик ночевать обиженного пустит. И не только пустит, но и укроет, даст возможность оглядеться, войти в связь с другими, организовать и дать отпор насильникам.

Помимо того, старообрядцы Южного Алтая, куда пробираются путники, за сотни лет сожительства с инородцами, обрели воинственность, доказали, что умеют постоять за себя. Тут и женщина нередко хватает ружье или рогатину, вскакивает в седло и скачет верхом, наравне с мужчиной, в погоню за похитителями стада. А при надобности может пырнуть рогатиной полицейского, прибывшего опечатать или разорить моленную их. При этом, пырнуть так искусно, что и сам чорт не разберется, кто это сделал. Полиция это знает и избегает вмешиваться в здешнюю старообрядческую жизнь. Сюда даже ни один ротмистр, типа фон Перетц, не посмел сунуть носа своего.

Южный Алтай горная страна. Деревня Уст-Бухтарма, где пребывают сейчас путники, лежит на высоте полуверсты. Хребет Листвяга, за которым находится скит, цель путешествия их, возвышается версты на две с половиной. Многочисленные хребты отделяются здесь друг от друга то узкими и глубокими долинами, то плоскими межгорными плато, как например Бухтарминское. Многие горные вершины Южного Алтая, такие, как гора Белуха, пик Куйтен, вздымают вершины свои больше, нежели на четырехверстную высоту, блистают вечными льдами.

Климат здесь более умеренный, нежели в Кулундинских степях. Средняя температура воздуха стоит в июле на уровне + 15 градусов по Цельсию, а в январе — 15 градусов при полном безветрии.

По количеству осадков южная часть Алтая относится к числу умеренных областей — 500—600 миллиметров в год, половина которых в виде снега зимой.

Растительный и почвенный покров делится здесь по поясам на степной, лесной, альпийских лугов, высокогорных тундр. Степи приурочены тут к долинам рек, нижним склонам гор; средним — лиственницы, пихты, кедр, ели; вершины гор занимают альпийские луга, переходящие к оледенениям в горные тундры. Общая площадь ледников здешних около 600 квадратных верст. Пояс вечных снегов начинается на высоте 14 тысяч футов.

Занятие алтайского населения: деревенского — хлебопашество, животноводство, пчеловодство, мараловодство, охота на белку, соболя, черно-серебристую лисицу; занятие приискового люда — добыча и обогащение полиметаллических руд и руд редких ископаемых.

Отец Савватий, отслужив в Усть-Бухтарме воскресную службу, идет со спутником своим вверх по течению Бухтармы. В долине ее сейчас разгар страды и население спешит свалить с корня до наступления заморозков пшеницу. И всюду, куда ни глянь, стрекочут лобогрейки, вяжутся снопы, растут хлебные кресты, скирды. Кое-где гудят конные молотилки, торохтят по ночам веялки.

Посетив ряд старообрядческих деревень в долине реки Бухтармы, путники идут, минуя Зыряновку — оплот приисковщины — в большую старообрядческую деревню Соловьево. Страда близится в нижнем течении реки к исходу. Всюду золотятся зароды молоченой соломы, с гор спускаются в долину стада овец, рогатого скота. Оголенные нивы ждут их остатками палого колоса, а залежные земли — обилием молодой отавы.

Дорога выводит путников на пригорок. На северо-западе блещет льдами гора Белуха. Под нею пестрит осенними красками — зелеными, фиолетовыми, золотыми, белыми — хребет Листвяга, а еще ниже желтеет долина Бухтармы. По ее желтому полю разбросаны, как по подолу платья, там и сям зеленые пятна — благословенные Богом, любимые людьми, воспетые писателями пасеки. До ледников Белухи около двухсот верст, до хребта Листвяги около сотни, но кажется в прозрачном осеннем сухом воздухе протяни руку и ты дотянешься до них. Краски их свежи и четки, как на полотне искусного художника.

Пока путники стоят на пригорке и любуются нерукотворенной картиной, солнце, чиркнув по хребту Листвяга, валится

в бездну за дальними горами. И сразу желтизна долины меркнет, темнеет и темнота ее расплзается по склону хребта.

Проходит еще миг и от прежней осенней пестроты не остается и следа. Только царственная Белуха блистает еще в полумраке льдами, как порфироносная повелительница бриллиантами. Но еще миг и она блекнет, уходит на покой, блистая уже не бриллиантами, а рубинами.

Первым пробуждается от очарования Цыганок и напоминает, что уже смеркается.

Савватий крестится, возносит благодарение Богу, даровавшему столь дивное видение, и обращает лик к Цыганку.

— Смеркается уж, отче. А мы жилья не имеем, говорю я, — продолжает он.

— Это ничего, — отзывается Савватий, всматриваясь в лежащую впереди темную поляну. — Вон и жилье Бог указывает.

В складке местности чернеет невдалеке небольшая рощица, светится посреди нее огонек. На него Савватий и ведет спутника своего. Рощица оказывается пасекой. На опушке березняка старец: стоит и вглядывается в приближающихся путников; затем восклицает:

— Никак ты, отче Савватие? Так и есть ты! Откедова? Не с неба ли?

— Нет, не с неба. Для него я толст. И грехами тяжел. Обретаюсь покедова не на небе праведном, а на земле грешной. И место ночлега ишу.

— Заходи на пчельник. Гостем будешь. И с спутником.

Старик оборачивается и ведет пришельцев вдоль ручья, по берегу которого разбросаны ульи. Цыганок идет и косит глазами направо-налево на шумящие в сумерках ульи.

— Не бойся, человек Божий, — успокаивает его отшельник. — Пчела уж на ночь укладывается и встречать нас не собирается, потому как ночью не зряща.

— Это будет омшаник, — показывает он рукой на приземистое строение, из раскрытых дверей которого струится приветливый огонек.

Путники переступают порог раскрытой избы. На светце слева догорающая лучина. Хозяин ставит вместо нее новую. Гости оглядываются. В правом переднем углу божища. На ней с полдюжины старинных икон. Перед ними лампадка, аналой, псалтырь.

— Откедова ж, отче, и куды путь держишь? — вопрошает отшельник, водрузив на место новую лучину и усаживая гостей на лавку.

— С Кулунды, рабе Божий. Как имя рек будет?

— Савелием зовусь, Павловым сыном-от прозываюсь.

— К скиту путь держим. Не слыхивал ли, Савелий Павлович, как его там Бог милует.

— Кабыть слава Богу. Егда о весень был оттедова мних, отец Онисим, дак сказывал опосля обедни в Соловьеве, что скит Бог терпит по молитвам старцев, а сам, игумен, ужю дюже плох. Каким путем-дорогою подаешься на скит-от святой?

— Через Соловьево.

— Ну дак тама Пантелей Пименов, чать знаешь, обскажет о ските лучше, понеже я.

— Как поживает он?

— Ничего. Туго держит в руках семейны-от вожжи... А времена-от пошли нонче какие? Ох, времена! Табачище, винище, блуд распolzаются от присковых, аки чума, стучатся во всяку дверь. Еще какие деревни подальше от Зыряновки, то тама по-пристойнее. А от Соловьевки нашей она в пятнадцати верстах; ну и петля смрадная на вье, а не сусед... Поди плоть подкрепить нужду имеете с дороги? — вопрошает старец, спохватившись.

— Не к спеху. Терпение убогих не погибнет до конца, — замечает Савватий.

— Нет, нет! Давай скидывай котомки! Разболакайтесь! И устраивайтесь: ты, отче, на лежанке, а ты, рабе Божий, на полатах. Облюбовав места, руки мойте, из рукомойника вон. А я тем временем чайку согрею, соту достану, хлебац накрою. Окромья снеси сей, другой не вкушаю. Ну и не держу.

Взгромоздив через малое время на стол кипящий самовар, каравай хлеба, капустный лист с сотой, старец попросил о. Савватия благословить трапезу. Потрапезовав, глянул он на божницу.

— Желание имеешь, Савелий Петрович, правило послушать на сон грядущий? — спрашивает его Савватий.

— Ежели бы твое благословение...

— Споем, споем. Сисой! Изготовь, что нужно!

В хождениях по алтайским просторам пешком проходит короткое сибирское лето и наступает чреватая дождями и снегопадами осень. Между тем, ни у отца Савватия, ни у спутника его зимней одежды нету, обувь развалилась. А впереди высокий перевал.

В деревне Соловьевой, куда прибыли путники на следующий день, жизнь потекла для о. Савватия в плане не только духовном, но и материальном. Пробираться в скит через высокий перевал в летней одежде нечего было и думать. Гора Белуха, грозная предвестница погоды для прилегающего района,

уже успела не раз покрыть главу свою новым белоснежным покровом. Того и гляди покров этот появится и на хребте Листвяга. Следовательно, надобно обзаводиться зимней одеждой. И обзаводиться ею здесь, в близлежащем приисковом селении Зыряновка. Впереди купить ее в другом месте негде будет.

И подаваться дальше следует не пешком, а на лошадях, чтобы выиграть время. До Быструхинского мараловодческого хозяйства, по крайней мере. А потом снова пешком. Но там до перевала останется недалеко: дня два пути.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Как о. Савватий предположил, так и поступил. Соловьево осталось позади. Позади оказалось и Быструхинское мараловодческое хозяйство. Впереди высится перед глазами путников грозной стеной южный склон хребта Листвяга, по которому вьется зигзагообразно по левому берегу реки Быструхи охотничья тропа. Хребет оправдывает название. Южный склон его покрыт могучими листовенными лесами осины, березы, ольхи, тополя. За одним из поворотов тропы о. Савватий останавливается. Цыганок порядочно отстаёт от него. Дотянувшись до наставника, останавливается и он, снимает с плеч и кладет на землю котомку, затем обращается к нему:

— А что, отче, не выбросить ли нам из котомок летнюю одежду?

— Выбрасывай, ежели богат.

— А ты?

— Я не так богат; поэтому не стану выбрасывать того, что может пригодиться на будущее лето.

Цыганок снимает шапку. В прохладном утреннем воздухе лоб его густо парит.

— Но котомка-то, как тяжела, как тяжела! — продолжает он. — Боюсь, что с поклажей этой не вытяну на перевал.

Савватий наклоняется над котомкой Цыганка, развязывает ее, перекладывает богослужебные книги из его котомки в свою.

— Что ты, отче! — восклицает Цыганок, порываясь от-

нять у наставника книги.

Тот отстраняет его.

— Да как же это? — вопрошает прислужник. — Твоя котомка и так тяжелее моей.

— Ничего. Ты в силах своих сомневаешься, я — по милости Божьей не сомневаюсь в своих. Потопаем дальше.

Дальше тропа делается еще круче и извилистее. Что ни десяток шагов, то и поворот. Часа через три пути река уже не вьется из стороны в сторону, а перепадает с уступа на уступ, тропа поднимается с камня на камень, воздух холоднее. Появляется новый вид деревьев: лиственница, кедр, пихта, изредка сосна, ель.

К полудню поднимаются путники на площадку, останавливаются. Внизу желтая скатерть долины; по ней зеленые пятна: большие — деревень, поменьше — пасек; между ними пепельные ленты дорог, голубые прорези рек, родников. Вдали проглядывает в складках местности основная водная артерия края — Иртыш и на верхнем конце его западный выход озера Зайсан.

Озеро это заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Длина его с востока на запад свыше 150, а ширина — около 50 верст. Оно несказанно богато промысловой рыбой — осетром, нельмой, тайменем, язем, сазаном, шукой. Берега его пологи, светло-каштановые почвы покрыты полыно-солянковыми и типчаковыми травами, по которым бродят несметные отары тонкорунных овец.

Это то, что вдаль. А вблизи на склоне хребта могучий лес; фон его травяно-зеленый с разноцветными пятнами. Что вперед — из-за густого леса не видеть.

Саватий окидывает еще раз пространство, оборачивается на восток, продолжает под'ем.. Идти делается совсем трудно. Местами, перебираясь с камня на камень, доводится цепляться руками за их выступы. Солнца почти не видеть, воздух не шелхнет, одолевавших вину осенних мух, чирикающих воробьев, стрекотавших сорок здесь не видеть и не слышать; зато желтобрюхие синички порхают с куста на куст, с ветки на ветку всюду. Всюду полно смородины, клюквы, малины, ежевики, костеники, грибов; последних сих даже на стволах деревьев, в трещиноватой замшелой коре.

Судя по наклону изредка пробивающихся сквозь деревья солнечных лучей, день клонится к вечеру. За очередным поворотом тропы показывается охотничья изба, место ночлега.

На исходе второго дня горного пути, лес начинает редеть, уступать место лугам, горным тундрам. На перевале из бассейна Иртыша в бассейн Оби землянка, место нового ночлега. Втиснувшись в нее и освободившись от котомки, Савватий выбирается наружу. Смеркается. Впереди долина реки Катунь; за нею в облачных одеждах Белуха; облачные одежды ее спадают с плеч, ползут вниз, затягивают долину, подбираются, аки та-ти в ночи, к подножию хребта Листвяга. Совершаемое дальше покрывается ночной темью.

Как ни спешили путники, а попасть в скит к Покрову — престольному празднику скитской обители — не могли. Покровская ночь застает их на перевале. Там правят они вечерню празднику, укладываются спать.

Ночью о. Савватий спит и чувствует, что до плеча его кто-то как бы дотрагивается. Он поднимается, выбирается из землянки. Снаружи Покров воочию: земля не черная, а белая, с неба ложится на нее крупными хлопьями снег.

— Сисой вставай! — говорит он, возвратясь с землянку.

— Пора ужо? — отзывается тот.

— Пора. Почнем править утренью. Богоматерь белым омофором своим землю окутывает.

Утренью, а за нею и обедню правят они по полному кругу. Когда Савватий возглашает: «Да будет свет!» в единственное на уровне земли оконце пробивается в землянку луч солнца. А когда, отправив обедню, выходят они наружу, земля предстает взору их белой и лучистой, как бел и лучист омофор Богоматери, явленный на воздушных царьградскому иноку Андрею. Снег уже не идет к тому времени и облака, заслонив в последний раз солнце, бегут от лика его, как бы устыдившись застять ему в день Покрова Пресвятые Богоматери.

Как ни настроен о. Савватий аскетически службой в день престольного праздника скита, но он не может не обратить внимания на лежащую впереди панораму.

Прямо никем и ничем не скрытая, белая, что невеста в подвенечном наряде, восседает на Катунском хребте, как на троне, царевна Белуха. Правее грядет к ней из Китайской страны жених, славный принц Куйтен. На Чуйском хребте стоят в ряд и ждут приглашения на свадебный полонез подружки Белухи, принцессы Иикту.

Много ходит разных легенд о горе Белухе среди живущих под омофором ее русских поселенцев, а еще больше бытует их среди исконных обитателей страны сей, хакасцев. Савватий и дольше стоял бы и смотрел на лежащую перед ним кар-

тину, да глаза его начинают слезиться; слезы накапливаются на ресницах, катятся по вдохновенному лику. И кто его знает отчего они катятся? То ли от нестерпимого блеска снегов? То ли от рисующихся прелюдий семейного счастья? То ли от того, что прелюдии эти прошли как-то мимо него?



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Алтайский старообрядческий мужской скит основан в конце XVIII столетия московским купеческим сыном, известным среди алтайских староверов под именем отца Зосимы Катунского. Зосима этот был по своему времени и сословию неплохо образован, хорошо начитан, рукоположен во иеромонаха, а затем в игумена и архимандрита белокриницкими братьями.

Просуществовал скит этот около семидесяти лет, претерпел ряд гонений, заставлявших его покидать пределы родины и удаляться в Китай, потом снова возвращаться домой и в семидесятых годах прошлого столетия прекратить существование.

Но не станем забегать вперед. Продолжим очерк по порядку.

Чернецы Катунского Старообрядческого Мужского Монастыря, в поисках места, где бы можно было укрыть его от глаз преследователей, явились большими мастерами конспирации. Местность, куда запрятали они его, лежит на высоте почти двух верст, не имеет в округности ближе пары переходов ни-какого человеческого жилья.

Кроме того, район этот — нагромождение скал, утесов, пропастей такое, что и сам чорт передломает ноги, ежели суется в них на поиски обители; добраться до нее можно только в сопровождении проводника, ибо, как преследуемый всеми заяц, прежде, нежели опочить, запутывает след, так и монахи гонимого старообрядческого скита, из-за боязни нашествия преследователей, постоянных дорог к нему не создают.

В самом ските живет архимандрит. Досифей, отцы келарь, казначей, уставщик, ряд иеромонахов, дьяконов, воспитываю-

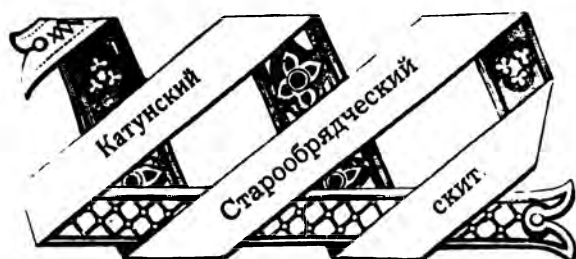
щихся в ските сирот и посвященных Богу мальчиков, несколько обрабатывающих огороды, готовящих пищу и отправляющих другие несложные работы трудников. Остальные монахи и трудники живут не на горе, а в долине, в скитских хозяйствах: на пасеке, в молочарне, на скотном дворе, в полеводческой ферме и в других монастырских заведениях, служащих как бы форпостом для монастыря.

Отец Савватий, спустившись с хребта в пойму реки Озерной — левого притока Катуня — идет, присматривается и приглядывается к каждому дереву, ко всякому камню, попадающемуся на пути. Снега ночью здесь еще не было; шел лишь дождь. В одном месте Савватий поворачивает вправо от реки и ведет спутника среди камней, вековых лиственниц, мацтовых пихт, ям и провалов, придерживаясь западного направления. Ежели попадаются на дороге ямы, камни, непроходимые чащобы, он обходит их, выпрямляет путь и идет на запад. В одном месте, продираясь через заросли и чуть не ввалившись в карстовую бездонную промоину, подводит сподвижника к глухой стене. Найдя в ней потайную дверь и впустив в нее спутника, входит сам, падает на колени, кланяется до земли.

Двор, куда вошли прибывшие, обнесен трехсаженным горбылевым частоколом. К нему жмутся изнутри избы-кели, хозяйственные клетки и подклети с крышами луковидным гребешком, в голубое небо летят золотыми крестами многочисленные башни и башенки, там и сям вздымают вверх тощие шен колодезные журавли. Над всем этим высится ярусный, рубленый в обло, многочастный храм с семью золочеными куполами над алтарем и с восьмигранной шатровой колокольней.

Скопление строений этих разбросано, как попало, в беспорядке. Но в самом беспорядке сем порядок, от которого не оторвешь глаз: один и тот же материал, один и тот же прием обработки кубовидных срубов, дранковая чешуя конькообразных крыш, эпическая простота, даже суровость оконных и дверных проемов, ленивый побег стенового частокола. И над всем этим густо-голубой шатер неба. От композиционного совершенства этого ничего нельзя ни отнять, ни прибавить, не ухудшив художественной ценности его.

Отец Савватий долго стоит, потом крестится и решительно шагает в направлении игуменского подворья. Сисой, примитивный и в некотором роде дикий человек, остается на месте, не чувствуя, что колени у него, на которых стоит, давно вымокли, а наставник ушел. Потом вскакивает и бежит вслед за ним.





Заснеженный лес

Архимандрит о. Досифей, увидев в окно приближающегося о. Савватия, выходит на рундучок в домотканном подряснике на беличьем меху, в валенках, в белой бороде от глаз до пояса. Внешне он дряхл, худ, кожа да кости. Но на этих костях горят, как уголья на шестке, ясные карие, пронизательные глаза и возвышается перламутровое, изборожденное сетью морщин чело.

Когда Савватий подходит к крыльцу, Досифей спускается с рундучка, раскрывает объятия. Облобызав гостя и благословив Сисоя, отправляет последнего к келейнику, а Савватия вводит в апартаменты свои, состоящие из сеней, прихожей, модельни, зальца и двух житий, одно из которых служит игумену кельей, другое — кабинетом. В последний сей, уставленный книжными шкафами, рабочим столом и несколькими табуретами и скамьями с высокими спинками, хозяин вводит гостя.

Убранства в игуменских апартаментах никакого, кроме икон, деревянных подсвечников, аналоеv, лампад да книг. Сложены апартаменты, как и все прочие постройки не только в ските, но и в деревнях всего старообрядческого Алтая, из распущенного по длине надвое добротного кругляка, обращенного тесаной стороной внутрь. Горбыли уложены друг на друга ребром в паз на мху, хорошо проконопачены; внутренние тесаные топором стороны горбылей производят суровое впечатление. Небольшие, амбразурообразные окна в стенах забраны решетчатыми рамами. Потолки из шпунтованных горбылей такого же типа, как и стены. А равно и пол. Все в подворье, как и везде в ските, не крашено, кроме икон. Иконы же в скиту и во всем старообрядчестве признаются каноническими только писанные красками по дереву или чеканенные по меди. Иконы другого наделия, в том числе и литографированные, считаются в старообрядчестве безблагодатными.

Отец Досифей, последний отпрыск семьи бояр Морозовых, замечательный человек. В молодости получил он университетское образование, на чем-то ожегся, оставил мирскую жизнь, ушел в монахи и очутился в Алтайском скиту в бытность настоятелем здесь отца Зосимы. С ним жил он бок о бок, душа в душу, трудился наравне с прочими трудниками, претерпевал гонения, бегал в Китай. И когда о. Зосима там преставился, передав ему игуменство, повел он среди братии проповедь за возвращение на родную землю. Благо и правовое положение там старообрядческой церкви, с восшествием на престол императора Александра Освободителя, стало улучшаться.

Возвратившись на родину и избрав для него теперешнее

место, срубил он здесь по своему проекту храм, скитские постройки, создал ряд скитских хозяйств вне расположения обители и теперь вот собирается помирать и все богоугодное дело передать отцу Савватию.

— Так приговорено советом старцев, так решено мною, так благословенно белокриницкой братией, — говорит о. Досифей, завершая введение в круг дел прибывшего в скит о. Савватия. — Прибудет оттуда владыка, возведет тебя в сан негумена и передам я тебе дела, а сам отправлюсь к праотцам. Пора мне уже, милой, ох пора! Передача вот токмо дела задерживает. Како зришь на сие?

— Иноческое дело, святой отче, повиновение, — отвечает Савватий. — Понеже совет старцев приговорил и ты, отче, благоволил утвердить недостойного меня, раба Божия, быти в таком служении, благодарю и приемлю, ибо послушанием обители духовно богатеют. Это по канону. А по делу аз раб Божий молод еще для негуменства, малоопытен. А што ежели бы обрат на негуменство другого кого, более достойного, умудренного опытом?

— Кого же? Укажи!

— Да хотя бы отца Спиридона.

— Спиридон хороший келарь, но не мыслю, чтобы был он хорошим негуменом. Эрудиции маловато у него.

— А у мене и того помене; боюсь, что братия будет плохо повиноваться.

— Это тебе-то?

— Бояться может быть и будет, но для процветания обители одной боязни маловато, как знаешь отче. А того, что заставляет не токмо бояться, но и почитать, во мне маловато. Видится это ~~изнутри~~ лучше, нежели извне.

— Другого, более достойного в обители нинкого нету.

— Зато ~~постарше~~ — сколько угодно.

— Старость явление в скитском делании и хорошее и плохое. Хорошее то, что овеяно традицией, а плохое — из-за немощи. Станет старец такой у кормила власти, поворачивает рулем год, второй и уйдет к праотцам. А как трудно ставить в старообрядческих условиях нового негумена ты не менее моего понимаешь: надобно или самому поставляемому ехать за границу, кружным через Китай путем или тем же путем привозить из Австрии Владыку. Насчет же молодости пусть не тревожится душа твоя. Я принял негуменство от блаженной памяти отца Восимы, царство ему небесное, в более молодых летах, нежели принимаешь ты от меня, и управлял обителью около сорока лет. И не безуспешно. Так вот! Как старцы приговорили, как

решил я, так тому и быть, памятуя, что перерешение дела пагуба для самого же дела.

Отец Савватий делает поклон в знак покорности, но просит отпустить его еще на год в приход, проститься с ним.

— Добре, сыне мой — соглашается о. Досифей. — Ежели Богу сие угодно, то и мне не противно. Отбудем вот тожко Освященный Совет и поезжай с Богом, поброди по приходу, у отца по плоти, достопочтенного Анания Ананьевича, побывай, от меня поклон передай... Разговором я утрудил тебя, — заключил беседу о. Досифей. — С дороги тебе надобно побаниться, отдохнуть. О мирских делах потолкуем, по изволению Божию, завтра. Кто таков прибыл с тобою?

— Причетник, раб Божий Сисой.

— Что за человек?

— Касательно честности — неподкупен, но порывист, иногда грубоват. Богослужебный обиход знает, обладает хорошим голосом, памятью, речевой способностью. Образован токмо мало.

— Скажи о. Исидору, чтобы отвел вам келью в два жила. И поближе ко мне.

Назавтра о. Савватий повел доклад игумену о мирских делах на Кулунде неторопливо, толково, обстоятельно, не скрыв от него ничего. На тезисе выдвинутом Галактионом Турбинным остановился особо.

— Говорить собирается приехать на Освященный Совет? переспросил Досифей.

— И дружков своих привезти из Барнаула, Бийска и из других мест, чтобы подтолкнуть нас перейти от обороны к наступлению, на никоннианские церкви, к разорению их.

— Насчет приезда, — милости просим; послал приглашения. А насчет противоправительственного буйства ты прав. Боже обороны нас и святую церковь Его от такого бесовского делания!

От игумена о. Савватий пришел в храм. Служба утренняя отошла еще до доклада его отцу Досифею, а повечерие пока не начиналось. Отец Савватий, взойдя на правый клирос, становится там на колени и начинает молиться.

Игумен и прежде намекал ему, что прочит его в заступники себе. Но тогда говорилось вскользь, не конкретно. Сейчас претворяется это в форму, обретает реальность. Через год он должен будет облечься в игуменскую мантию, принять на рамена свои тяжесть монастырского бремени. Желал он этого или нет? Нет, не желал. И не добивался. И сейчас молятся, чтобы чаша сия миновала его.

Почему миновала? Из-за боязни тяжелых обязанностей? Нет, не потому. А почему? Из-за уважения к старости. Из-за того, что в обители много умудренных опытом, оснащенных куда большими знаниями, нежели он — старцев. И он должен будет стать выше их, управлять ими. И управлять не по праву, а по соизволению.

Он тяжело вздыхает и слышит:

— Отче негумене, благослови печи топить!

Савватий выглядывает из-за отгораживающей клирос иконы Покрова Пресвятыя Богородицы. Подслеповатый истонник приближается к клиросу, сложив для принятия благословения руки.

Разглядев, что ошибся, лепечет что-то невнятное и исчезает в подклети, куда выходит топка заалтарной печки.

Нелепая встреча эта производит на Савватия двойное впечатление: ему делается не по себе от именованья, хотя бы и невольного, игуменом его при живом Досифее. Но в то же время он утверждает в неизбежности надвигающегося на него события.

Отец Савватий тяжело вздыхает, поднимается, сходит с клироса и начинает в который раз знакомиться с храмом.

Внутри его та же простота, целеустремленность, строгость, что и снаружи. Иконостас чарует молящегося не витиеватостью рисунка, а прямыми, предельно пропорциональными линиями. Общий тон его темный, несколько высветляющийся вертикальными линиями накладного золота на каркасе.

Иконостасу гармонируют вписанные в него иконы. Колорит их в общем тоже темный, но лики святых высветлены умело положенными бликами. Одежды их, выполненные в той же линейной манере, смягчены наклонной золотой штриховкой, рождающей у молящегося чувство невесомости, воздушности изображенного на иконе лица.

В такой же манере расписан и весь церковный интерьер.

Храм в общем двухсветный, в предалтарной же части — трехсветный. Высоте алтарной апсиды соответствует четырехъярусный иконостас. И когда сейчас в храм входит очередной причт и начинает править повечерье, наклонные лучи солнца падают через окна южной стены храма, рассеиваются по храму, зажигают сиянием золотые нимбы икон, линии иконостаса, золотую и киноварную отделку одежд — у монаха создается чувство, что тут, именно в этом лесном, гонимом храме чистота и благодать православного верования.

Богослужения отправляются в обители по древнему суточ-

ному кругу. Совершаются они очередными иеромонахами и начинаются утром перед рассветом, с тем чтобы возглас священника: «Да будет свет!»... — пришлось к восходу солнца. Окна прорезаны в алтарной апсиде с таким расчетом, что в какое бы время года не отправлялась утренняя, лучи восходящего солнца обязательно падут, ежели не заслоняются облаками, на престол и зажгут огнем стоящие на престоле священные сосуды.

За утренней следуют часы, соответствующие по времени седьмому, девятому, двенадцатому, третьему часу. Между девятым и двенадцатым часам утра правится литургия. Вечером совершаются две службы — вечерня и повечерие.

Из богослужений этих обязательны для всех насельников скита: утренняя, литургия, повечерие.

Повечерие длится недолго и состоит из молитв, в которых просится у Господа Бога прощение проистекших за день грехов, и дарование мирного сна. Завершается оно особым древним чином: церковь поет — «Все святые вселенские молитесь Богу о нас.» Затем — «Преподобный отче Досифее Верхнеостровский моли Бога о нас». И так далее, пока не будут перебраны имена небесных покровителей всех скитских насельников.

Пока поют прошение Досифею Верхнеостровскому, престарелый Досифей Катунский мечет в игуменской мантии земные поклоны, проходя перед солией от иконы к иконе слева направо, посолонь. Совершив круг этот, игумен становится перед правым клиросом.

За ним проходят по старшинству тем же кругом и мечут земные поклоны, прикладываясь к иконам остальные присутствующие, не исключая и учеников.

Отметав поклоны, молящийся подходит к игумену, троекратно лобызается с ним, целует руку его и становится в ряду поющих.

В первое воскресенье по прибытии Савватия, литургию правит Досифей. В храм вводят его в мантии и клобуке воспитанники духовной школы под руки. Собравшиеся к тому времени в храме иеромонахи, трудники, ученики, прибывшие с дальних монастырских хозяйств монахи падают на колени. Не по уставу, а от чистого сердца.

Служба начинается. Поет мужской монастырский хор. Нелишне заметить, что за время существования храма, порога его не переступала женская нога.

Когда приходит пора читать Апостола, на середину храма выходит в стихаре, с черной, как смоль бородой и шевелюрой Сисой. Читает он в просторном, с хорошей акустикой храме

Апостола так, что дребезжат стекла в окнах.

В великий выход на амвоне появляются архимандрит Досифей, с дюжину иеромонахов, несколько дьяконов, прислужников. Проповедь читает о. Савватий на тему о Геннисаретском чуде. Прочитав проповедь, произносит он сильное слово об искусстве уловления душ человеческих.

С наступлением Филипповок начинают с'езжаться приглашенные отцом Досифеем в обитель на совещание настоятели старообрядческих приходов Кулундинских степей и Алтайских гор. В ожидании с'езда, Савватий погружается в чтение. Благо в обители собрана богатая библиотека богослужебных, проповедных, житейных и иных богоугодных книг, как рукописных, так и первопечатных, не затронутых Никоновской правкой, художественно украшенных, оваянных мученическими страданиями за старую веру мужей и жен. Были там и подлинные письма первомучеников за веру отцов протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой, экземпляры челобитных, толкования Аввакума на священные темы, которые умудрил его Господь написать в тюрьмах и переслать жене своей. И немало других исторических документов.

Задолго до с'езда, на землю ложится снег, настает зима. Зима в этом году ранняя и холодная, но безветренная, алтайская. Перед окном о. Савватия монастырская деревянная ограда частоколом. Первый выпавший снег оставляет на усеченных горбылях пирамидки снега вершка в полтора. Когда снежные пирамиды достигают на них высоты вершков в шесть, надевает он высокие пимы, маралью доху, пыжиковую шапку и идет под вечер побродить по монастырским окрестностям.

Бредя по снегу, нападает на свежий заячий след, идет по нему, через малое время настигает творца следов; заяц, заметив человека, сигает на сажень в сторону, залегает в пушистом снегу. Савватий берет угол движения такой, чтобы пройти мимо хитреца на расстоянии, с которого можно было бы видеть его, но не спугнуть. Маневр удается. Проходит он мимо зайца на расстоянии сажени. Зверек сидит в снегу и не шелохнется. Ежели бы человек, проходя мимо него на таком расстоянии, не знал, что он лежит здесь, то прошел бы мимо него, не заметив. Спинка зайца вровень со снегом; темные, сложенные на спинке ушки производят впечатление оброненного деревом сухого листка.

В другом месте серенькая белка. Заметив человека, она во мгновение ока валетает на стоящий рядом огромный кедр. Савватий входит под свод дерева. Белка, видимо пуганая, зорко наблюдает за ним, сидя на ветке, прикрывшись пушистым хво-

стом. Невдалеке от нее дупло, видимо, жилище ее. «Быть сильному морозу», решает Савватий, «ибо белка ни с того, ни с сего не прикроется хвостом.

Сообразив, что блуждая по снегу, можно ввалиться в карстовую пропасть, которых здесь видимо-невидимо, Савватий поднимается на свободный от растительного покрова пригорок, на котором знает, что карстов нет. Солнце тем временем садится за Катунский хребет, а луна являет лик свой из-за Листвяги. Заснеженная долина Катунь с одной стороны меркнет, с другой меняет золотой наряд на серебряный. Проходит какое-то время и долина утопает в лунном сиянии. Лунный свет трепещет, окутывает скалы, холмы, леса, отражается от склонов противоположного хребта, искрится в мириадах снежинок на земле, на стоящих внизу деревьях и мир реальный превращает в нереальный, таинственный.

Савватий смотрит на мир этот и ему как-то не верится, что сию минуту где-нибудь может быть Мир Божий другим, не серебряным.

Луна поднимается на четверть горизонта, мороз крепчает, тени стоящей внизу серебряной колокольни укорачиваются, звезды меркнут и из золотых делаются серебряными, да и небо уже не глубокое и не темное, а серебряное, и сам он, Савватий, со всем естеством своим тоже серебряный.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Морозы крепчают, иными ночами достигают на высоте этой тридцати градусов. Снега выпало уже с аршин глубиной. Но бывают и оттепели. Тогда снег оседает. И когда снова ударяет мороз, делается крепким настолько, что человек может ходить по нему, как по настилу.

На Освященный Совет съехались в скит, кроме духовных лиц, финансовые покровители его из Колывани, Бийска, Камня на Оби и из других мест, как Кулунды, так и Алтая. Ждут приезда со дня на день самого богатого и влиятельного из покровителей, Галактиона Турбина. Но вот и он прибывает.

В обители настроено немало запасных келий на случай наплыва людей. И все они сейчас заняты. Жизнь идет в монастыре кипучая. С утра до поздней ночи — службы церковные. Между ними — кулуарные беседы, разрабатывается повестка совещания. Открывает его о. Досифей — игумен и архимандрит монастыря.

Сложность и новизна поднятого купцом Турбиным вопроса борьбы с наступающим на старообрядчество никонианством, вынуждает прервать заседание на неделю, чтобы дать время с'ехавшимся осмыслить его.

Время перерыва использует всяк по своему. Купцы отправляются на охоту. И так как охота в окрестностях обители не допускается, подаются в дальние места. Галактион Турбин едет на охоту на маралов в верховье реки Катунь, в маралий ареал на склонах горы Белухи.

Марал — парнокопытное животное семейства благородных оленей. Масти он бурой с желтым оттенком, ростом с хорошую корову, на высоких и крепких ногах. Рогами природа наделила марала мощными, в 10-12 отростков. Ценность его не в мясе и не в шерсти, а в рогах, называемых среди мараловодов — пантами. Рога растут только у самцов и сбрасываются ими каждый год после свадебной поры, обычно поздней осенью или зимой. Это у дико живущих. А у обитающих в маральниках — срезаются, пока еще не окостенеют, что случается на 66—90-ый день после появления. Вытяжка из рогов (пантов) издавна применяется в китайской медицине, как тонизирующее средство. Панты эти местные мараловоды продают официально русским экспортерам, а не официально китайским контрабандистам за большие деньги.

Ночью, предшествовавшей выезду Турбина на охоту, шел снег. К утру вывездило. Морозит. Катунь крепко скована льдом. Тройка бежит по накатанной на льду дороге резво. В деревне Зайчиха Турбин ночует, берет в дружки местного охотника, идет с ним и со слугой своим до охотничьей избы. Там ночует.

— Вставай-от, паря! — будит его далеко до рассвета дружок.

Турбин поднимается.

— Мороз на дворе не приведи Бог, — продолжает дружок. — На горе Белухе нонче должно быть кровь стынет у маралов.

— А это хорошо или плохо? — спрашивает Турбин.

— Известное дело хорошо. Погонит их на низину. Обо-

локайся, завтракай и пойдем, чтобы не упустить тяги маральей. За завтраком вина — ни капли. Марал запаха его страсть не любит.

И вот идут они. Впереди дружок в овчинном полушубке, в перехваченных под коленом ремешком пайпаках, с топором за поясом и с рогатиной в руке. За ним купец тоже в полушубке, только не в овчинном, а в пыжиковом, в такой же шапке-ушанке, длинные уши которой обернуты у него вокруг шей; на ногах — поярковые валенки выше колен, на ремне штуцер; запасной штуцер у шагающего сзади слуги.

«Мороз действительно — кровь стынет», идет и рассуждает сам с собой Турбин. «И это на четырех тысячах футов. А какой же силы он на пятнадцати?...»

— Давай приналяжем, твое степенство, — настаивает дружок. — Штоб поспеть до свету на тропу, по которой пойдет зверь.

Приналегают. Ноги вязнут в снег по колени, до оледеневшего слоя его. Сквозь лесной свод мерцают крупные звезды. Воздух не шелохнет. Тишина в лесу, что в погребе. И тишину эту — странно, до оторопи — режет шум вязнувших в снегу ног проводника: «шуг», «шуг»... Турбин мерно ступает в след дружка, хотя ростом он значительно выше его.

— Пришли, — шепчет дружок через пару часов ходу, останавливаясь на склоне пади. — Марал пойдет, ежели что, видишь кабыть тропу-от?

Турбин всматривается и ничего не видит в темноте, кроме снежной стихии да древесного редкостоя.

— Ну вона, вона она, тропы-от, маралья! Промежду тех двух листьев? Видишь?

— Листвяги вижу, а тропы, хоть убей, нет.

— Промежду листьев тех и пойдет он... Самопал твой достанет до них?

— Достанет.

— Тогда становись обочь дерева сего, заряди ружжо и жди. Насчет зелья табачного — ни, ни! Закуришь — морал не пойдет; за сто верст обойдет, а на табачника не пойдет.

— Я не курю; по истинной вере живу.

— Это хорошо. И вина для сугреву то ж ни, ни! А ты, малой, стань тут! — продолжает дружок, ставя слугу позади купца. — И ежели что — самопал незамедлительно в руки его степенства!

Пока дружок расставляет охотников и инструктирует их, вершина Катунского хребта подергивается розоватыми побегами; побеги эти растут, светлеют, расползаются по горизонту,

звезды меркнут и одна за другой, очевидно озябнув, уходят на покой, лес светлеет, снег пробуждается, начинает светиться обычным светом.

Когда шли, купец не чувствовал холода; правда, ему приходилось частенько прикрывать крупный нос свой мохнаткой; но теперь он мохнатку не снимает с него и предательская дрожь пробегает по спине; он только не понимает отчего она — от холода или от охотничьей лихорадки, потрясающей его на охоте и в летнюю пору, пока не добудет первой добычи.

— Слышь? — шепчет дружок.

— Что — слышь? — переспрашивает Турбин, выбивая дробь зубами.

— Марал. Да ты успокойся! Дрожать некогда. Выходит он уж вон из-за колка.

Турбин смотрит, куда показывает дружок.

Из-за небольшого березняка показывается на открытой снежной поляне, разгребая грудью, как щитом, снег в стороны, матерой марал. Выйдя из-за колка, он останавливается, нюхает воздух, осматривается, и снова таранит снег. За ним идет по следу марал помельче, вероятно матка; сзади плетутся совсем мелкие, должно летошние подростки.

Вожак, как и предсказывал дружок, идет в ворота между лиственниц, и когда минует их, дрожь как рукой снимает у Турбина, он сбрасывает на снег мохнатку с правой руки, обхватывает ею в нитяной перчатке цивье штуцера, целится...

Вожак замечает людей, вздыхается на дыбы, но опаздывает. Выстрел потрясает морозный воздух, отдается стократным эхом в горах. И когда пороховой дым рассеивается, в снегу остается барахтающийся вожак, а стадо уносится назад, за колок.

Дружок бежит к добыче, потом возвращается и с дороги кричит:

— Ну и здоровенный же зверь достался тебе, паря. Отродясь не видывал такого. Шкуру хошь получить под ноги, али для чучелы?

— Для чучела. В городской музей, который открываю.

— Тогда отправляйся, твое степенство, по следу в избушку, а через час притарабаним и мы с парнем твоим. Оставлять зверя на таком морозе немочно, а ни на малое время. Окостенеет. И тогда шкура пропадет.

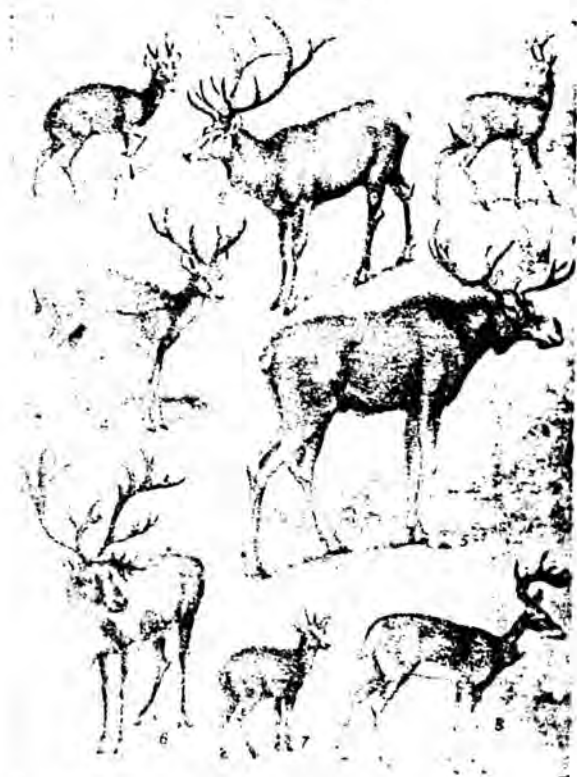
На обратном пути на той же самой тропе, по которой вел стадо марал, торчит каряга. Турбин пинает ногой ее. Из снега выворачиваются огромные маральи рога. Охотник взваливает их на спину и несет в избушку. Когда спускается туда дружок с охотничьей добычей и со слугой, Турбин прикладывает ро-



*Маралы круглый год пасутся
в обнесенных высокими заборами
просторных «парках»*



И.С.С.



Олени: 1. Мушкетер. 2. Марал. 3. Косуля. 4. Пятнистый олень. 5. Лось. 6. Северный олень. 7. Пухляк. 8. Бараний олень.

Оленья стада

га к пенькам на голове шкуры. Подходят, точь в точь. Двойная удача: добыта огромная великолепная шкура и такие же рога.

Охотники возвращаются в деревню. Небо начинает сереть. С Белухи сползают в долину облака.

— Быть сегодня снегу, — говорит дружок, передавая ношу слуге.

И в самом деле, в неподвижном воздухе повисает крупная, размером чуть ли не в рукавицу снежинка, некоторое время кружится, затем, выбрав место, плавно ложится на снег; за нею другая, третья. Через некоторое время земля и серое небо сливаются воедино. И в едином целом этом крупные хлопья снега плавно оседают на землю, видимость суживается до нескольких саженей.

— Дюжие нынче холода настали, — говорит проводник, — кабыть крещенские. Таких холодов не припомню об эту пору за всю жисть свою. А снегу скоко наворотило! Просто страсть! В прошлые годы толико не наворачивало и к Сре-тенью.

— Чем занимается деревня ваша? — спрашивает его Турбин.

— Чем занимается деревня? На нашей высоте хлебушка-от не родится. Огородинка вот токмо, да скотинка. Зато уж кака скотинка! Ни мухи, ни комара у нас нетути и в помине. А каки луга, зеленя, ковылка для баранты!..

— Что ж — вся деревня занимается скотоводством?

— Кто скотоводством, кто охотой, кто лесом промышлят.

— А ты чем промышляешь?

— Я то? Я маралаводством занимаюсь.

— А-а! Это интересно. И много у тебя маралов-то?

— Не дюже. Осемнадцать-от рогачей.

— И с них живешь?

— Живу и хлеб жую.

— Сколько ж получаешь с них доходу, ежели не секрет?

— Зачем секрет. Секрету у нас нету. Живем на виду. А получаю доходу с рогача инде 70, инде 80, а инде и сто рублей в год. С коровы стоко не получишь.

— А пошто разнища в доходе?

— А разнища в доходе от разницы в цене на панту.

— А правда аль нет, кабыть сбываете вы ее в Китай?

— Не стану греха таить. Случается. Когда наши скупщики попримжут с ценой, дак понесешь панту-от свою кому угодно: хошь китайцу, хошь монгольцу, хошь дьяволу самому. Хлебушку-от кушать то ведь нужно. А за него денежки платить тож надоть.

— Один ты занимаешься в деревне мараловодством?

— Пошто один? Дворов с пять занимается им. Я мараловод махонькой-от. А есть и поболе. Держат и по полсту рогачей, и по семидесяти, и по сту.

В коммерческой голове купца мелькают цифры: сотня маралов, по сто доходу с головы — десять тысяч, а с тыщи голов — сто тысяч доходу... Положим это он, крестьянин, при своем труде может получать доходу с головы по сту рублей, а при наемном труде столько не получишь. Но допустим получу я с головы пятьдесят рублей. И тогда доход приличный.

— Скажи, — обращается он к мараловоду. — А где добываются маралы, когда начинается дело?

— Ловим о весень приплод дикой, когда он токмо нарождается.

— И сколько можно наловить его за весну?

— Ежели одному ловцу, то с десятков. Потому, как ловить яво надобно, когда он ешшо махонькой, в первый день по рождении, аль на второй; на третий не пымашь. Потом же, егда свои поведутся, дак каждая матка будет дарить тебе их по две штуки каждогодно. Яловиц среди них не случается.

— А почем можно купить его?

— Энто кого же?

— Ну, рогача.

— Какого рогача. Рогачом с пантами становится марал с трех лет. И остается им лет до двенадцати-пятнадцати; потом или подыхает или прирезывается. Дак вот! Самый дорогой рогач в возрасте от четырех до осьми лет. И такого рогача можно купить рублев за пятьдесят.

Купец снова считает: «Тысяча голов»... И так далее.

— Ну, а мясо, как их? — продолжает он.

— Обратно должен спросить: с какого марала? Со старого рогача — собакам токмо впору. А телка — скусная; особливо — сосуница. Да и шкурка с нее на пыжик идет.

— Спиридон! — обращается Турбин на обратном пути в монастырь к сидящему на передней скамейке кибитки слуге.

— Чего изволите, Галактион Герасимыч? — отзывается тот.

— Куды шастал вечор по возвращении с охоты?

— Ездил с хозяйским сыном на маральник.

— Чего заради?

— Заради интересу.

— Ну и видал его?

— Обнаковенно.

— Что он представляет?

— Огороженный жердяной изгородью в косую сажень склон горы редкого леса с версту в поперечнике. И за этой изгородью десятка с два рогачей, тоб-то быков маральей породы, с пяток маральных коровок, с десяток летошнего и прошлогоднего молодняка.

— И еще что видал тама?

— Стогов с пяток сена, пруд с прорубями, небольшой домишко, конюшенку, сенокосилку.

— А обслуги сколько?

— Хозяйский сынок сказывал, что зимой управляются они на маральнике с хозяйшкой вдвоем. Маралы почитай до Сретения на подножном корму. Но огороженной земли им маловато и корм на ней к концу зимы выбивается. Поэнтому хозяева держат сенокосилку и летом заготавливают сколько нужно на остаток зимы сена для подкормки маралов.

— А кто ж подкармливает диких маралов?

— Дикой марал — зверь вольный, огороды вокруг себя не имеет, и выбив корм на одной лужайке, переходит на другую.

— Что делается летом в маральнике?

— Летом, — сказывает он, — другое дело — сенокос, копнение, метание стогов. На ту пору на маральник выезжает вся семья.

— Немалая маралья морока, как говорит хозяйский сын, настает во время снятия рогов, — продолжает через минуту Спиридон. — Для этого в маральнике пригорожена вдоль главной изгороди, побочная изгородь изнутри, в виде щели. Щель энта у входа широка, а у выхода — узка. Токмо-токмо единому маралу пройти. В щель энту загоняют рогачей, когда назреет панта. И в нее заходят они рогачами, а выходят комолами, с забинтованными тряпицами пеньками рогов.

— Однако, парень ты дошлый, — замечает Турбин. — Вот, что! Хочешь стать человеком?

— Кто ж из бедных людей не захотел бы стать отцом дяконом.

— Правильно речешь. Не зря книжки читаешь. Разговор мой с мараловодом слушал намерен?

— Не проронил ни слова. Оттого и на маральник ездил.

— Смекнул, значит, зачем завел я его.

— Энто не составило труда. По его рассказу выходит, что зарабатывает он на маралах рубль на рубль. А я скажу, что ежели заработать нам четвертак на рубль и то будет неплохо.

— Ну так вот! Домой поеду я с одним кучером. Ты оста-

нешься тут. Обсмотришь, что и как, познакомишься доскональнее с делом и когда возвратишься с хорошим предложением — назначу тебя приказчиком по мараловодству... И дочь старшую отдам замуж.

Глаза Спиридона блеснули огнем, когда Турбин предложил ему дело. А когда присовокупил к делу дурную дочь, потушли.

— Чего рожу воротишь, — продолжает Галактион Герасимыч, заметив какое впечатление произвело на парня предложение невесты. — Ну, что ж, что некрасивая. С лица, брат, воду не пьют. Да еще такие голыши, как ты. А пятьдесят тысяч приданного, милый мой, не пустяковая вещь и в умелых руках может дать со временем независимое существование.

Спиридон наклоняется, берет кулаческую руку в мохнатке, целует ее.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Заседания с'ехавшихся проходят под председательством о. Досифея чинно, мирно. У немощного старца никто не разбушует, не уклонится в сторону. Чуть что — глянет карими глазами своими и виноватый на место, в рамки повестки, регламента. Даже и самый агрессивный из присутствующих — миллионщик и почетный гражданин империи Галактион Герасимыч Турбин.

Из информации настоятелей приходов видно, что там, где жандармерия насадила в свое время никонианские храмы, там старообрядчество доживает последние дни; там же, куда жандармерия не могла достигнуть или где деревня выдержала напор ее, не поддавшись, старообрядчество держится, нравственность сохраняется.

Как предохранить от разрушения истинную веру, а вместе с нею и нравственность, говорит на следующий день Галактион Турбин. В выступлении своем делает он упор на том,

что сорок лет, прошедших в условиях существования в ряде староверческих деревень никонианских церквей, показали к чему церкви эти ведут старообрядческую Русь. Ведут они ее к отходу от истинного православия, от дедовских обычаев, от повиновения детей родителям, жен — мужьям, к насаждению разврата, поножовщины, к проникновению в старообрядческий быт пьянства, табакокурения.

И кто является, по его мнению, проводником всего этого? Никонианский поп, нередко пьяница, табачник, приезжающие к нему в каникулярное время из семинарий и из университетов высоковозрастные сыновья, псаломщики, причетники.

А посему их, никонианских церковников, как жандармское наследие, надобно, по разумению докладчика, вынести из старообрядческих деревень, церкви их спалить, школы закрыть, обучение детей грамоте оставить по прежнему за бабушками, матерями, старшими сестрами.

По ходу речи Турбин иллюстрирует доводы свои о неблагоприятном поведении никонианских священников примерами.

Главным оппонентом ему выступает отец Савватий.

— Допущение в старообрядческие деревни никонианских церквей, — говорит он, — явилось роковой ошибкой, пагубой для старообрядчества, для патриархального быта деревень наших. Но что ж после драки кулаками махать. Что соделаю, того не воротить, ибо бывшее не сделаешь не бывшим.

Однако, раб Божий Галактион Герасимыч предлагает меры к тому, чтобы содеянное сделать как бы не содеянным. Он уверяет Освященный Совет, что стоит токмо спалить никонианские церкви, выгнать попов их и все возвратится вспять, станет на свое место, бывшее делается бывшим.

Так ли это будет? Я позволю себе усомниться в этом. За сорок лет в двойственного подчинения приходах, сиречь в тех, что содержат никонианские церкви и от нас не отходят, успело народиться два поколения: отцы и дети их. И отцы и дети эти крещены и венчаны не по солонь, творящие крестное знамение щепотью, привыкшие к коротким богослужениям, партесному пению и к другим обычаям церковным — безразлично или даже враждебно относятся к старым обрядам. Следственно спалением церквей, хотя бы и никонианских, можно сделать их не приверженцами старой веры, а лютыми врагами ее. А то еще и безбожниками.

Спалить никонианские церкви, дома поповские, школы, выгнать попов дело возможное; в деревнях еще немало истых приверженцев наших. Но кто может поручиться, что участвующие в чине разрушения молодцы не заразятся бешенством раз-

рушения и не пойдут палить и разрушать дома и магази́н богатеев, в большинстве приверженцев наших? Я такого ручательства дать не могу.

Савватий немного помолчал.

— Мне привелось видеть в странствованиях по Волге ма-тушке, — продолжает он, — как в одной из деревень мир судил и вершил расправу над изловленными конокрадами. Побив их самих, пожегши дома их, заправи́лы самосуда повели толпу бить и палить питейный дом. Раздобыв там водки и налакавшись ее, деревенская голытьба учинила погром всех богатых домов.

— Ну, а результат каков?

— Результат, отцы и братья мои, таков: с десятков оказа-лось убитых, десятка с два молодых пошло с рваными ноздря-ми на каторгу, да с полста по тюрьмам.

Еще одно событие, но не отдаленное от нас, а близкое. В округе прихода моего есть деревня Овечкино. Никонианские священники не все плохие люди. Я знаю среди них немало добронравных и здравомыслящих пастырей. Но овечкинцам достался батя самый плохой из плохих никониан. На жалобы их благочинному, и даже архиерею, никакого ответа не получа-лось.

Тогда, в один день, когда поп этот учинил у себя же дому пьянку с драньем трепака под балалайку причетника, деревня собралась, запрягла сколько нужно было подвод, нагрозила их поповским добром, посадила пьяного в стельку попа, попадью со надами, причетника с балалайкой, отвезла в село Боево к благочинному, там сгрузила у дома его и возвратилась домой. И что бы вы думали? Не прошло и двух недель, как в Овечки-но нагрянула жандармерия, перепорола нагайками какую-то часть деревни, забрала с собой тех, на кого указал выгнанный поп, а самого попа водворила на прежнее место.

Это по сравнительно мелкому делу. А какая ж последует оккупация, ежели единоверцы наши пожгут никонианские церк-кви, поповские дома, школы, повыгонят попов из всех деревень? Нагрянет целый жандармский отряд, перепорет половину Ал-тая, набьет тюрьмы старообрядческой Русью, разорит оби-тель нашу.

Савватий замолк и смиренно поник головой.

Собрание долго молчит. Молчание это разряжает Гадакти-он Турбин. Он встает с места, подходит к отцу Досифею, берет благословение, направляется к о. Савватию, протягивает ему руку, лобызает его и говорит:

— По здоровом размышлении над делами твоими, досто-

поштенный отче, и по благословению отца нашего Досифея, отказываюсь от пропозиции своей.

Освященный Совет облегченно вздыхает.

В следующем заседании суждения идут, как же относиться к деревням двойственного церковного подчинения?

Принимается решение положиться в этом на волю Божию; и тех, кого удовлетворяет никонианский обряд, не трогать, почитать, аки мытарей и фарисеев, и идти лишь к тем со словами утешения, кто нуждается в них, кого не утешает новый обряд. И когда отойдут ко Господу последние сии, стряхнуть никонианский прах от ног своих и отойти с миром от заблудших деревень.

В следующие дни так же мирно и деловито решаются остальные, поставленные на обсуждение вопросы. По прочтении и принятии всех решений Освященного Совета, архимандрит Досифей доводит до сведения собравшихся, что он по преклонным летам и по состоянию здоровья, уходит будущим летом на покой.

Собрание заканчивалось.

— Не волнуйтесь! — продолжает он. — Старцы обители нашей, преисполнившись Духа святого, вразумившись уставом отец наших, приговорили, а аз есмь недостойный раб Божий, игумен и архимандрит обители сей, утвердил быть игуменом за место моего достойному чернецу, неромонаху отцу Савватию.

Собрание единой грудью вздыхает и переносит взор с о. Досифея на о. Савватия.

Последний сей встает, земно кланяется архимандриту, затем сидящим на особом месте монастырским старцам, всему ввечестному Освященному Совету, а также и всему алтайскому старообрядчеству.

— Настолование нового игумена состоится, — продолжает о. Досифей, — ежели благословит Господь, в следующий престольный праздник Покрова Пресвятыя Богородицы, и ежели мы доживем до того дня. Завтра же, поутру, пропоем благодарственный молебен Спасу и Господу нашему Иисусу Христу о благопоспешном завершении соборных речений наших. Мы могут не возрадоваться, что минувшие соборные речения препоясали чресла наша истиною, облекоста помыслы броней правды, обуеши нами обутокю силы. А наипаче соборные укрепились щитом веры староотеческия.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На исходе Фидипповых катит тройка, сначала вниз по течению Катунь, затем вверх по реке Коксе. В кибитке на заднем сидении хозяин ее, Турбин, рядом с ним о. Савватий, на переднем месте Цыганок, на облучке кучер с развешивающейся надвое рыжей бородой.

Турбин, потерпев поражение от Савватия на Освященном Совете, не озлобился на него. Узнав, что тот собирается в приход, предложил ему и слуге его место в кибитке своей. И теперь сидят они и мирно беседуют на дорожные темы, вроде так, что весьма полезно провешивать в зимнюю пору санные дороги. А здесь вот встречающиеся открытые места не провешены. И хотя в горах метелей не случается, но снегопады бывают такие, в которые легко сбиться с пути.

Путники говорят обо всем этом, а мимо мелькают скалы, ущелья, проносятся вековые леса, попадают большие прогалины, деревни на них, куда заезжают они попить чаю, переночевать. Население проживает здесь в общем гостеприимное, с патриархальным бытом.

Дорога продолжается третьи сутки, а горам, лесам да снегам нету ни конца, ни краю. Коренник забирает снега эти передними ногами, пристяжные бьют их саженными скачками, а снега лежат себе да лежат.

Мерный скок пристяжных, ритмическое покачивание из стороны в сторону крупа коренника, мелодический перезвон серебряного колокольчика убаюкивают путников. Первым начинает клевать носом Цыганок. За ним запахивает полы дохи и прислоняется головой в угол кибитки Турбин. Савватий крепится, размышляет на темы духовного бытия, но и он, поднимаясь убаюкивающему ритму, впадает в забытие.

Встречный обоз, не смотря на звон у дуги колокольчика почетного гражданина, не уступает дороги ему. Кучер бранится, говорит:

— Что! Не видишь кого везу? — грозитя кнутом, но сворачивает в снег, ибо знает, что сибиряк не дуже чтит начальство.

Путники просыпаются, и когда обоз минует, и тройка, выбравшись из снега на макатанную дорогу, несется по ней

вскачь, переходят от дремы к думам. Турбин о том, как откроет полезное отечеству и прибыльное ему еще одно моральное дело, и в конце концов сбудет с рук неудачливую, засидевшуюся в девках дочь. Спиридон, хотя и гол, как сокол, но роду племени своего, староверческого, приходится дальним родственником ему. Да и голову неглупую имеет на плечах.

Отец Савватий размышляет о другом: куда податься при выезде на равнину, чтобы возможно больше об'ехать прихожан в близящийся мясоед?

Цыганка занимают свои думы. Просидел он с десятков недель в обители, не видя никого, кроме чернецов. Зачем она ему, человеку живому, жизнь эта мертвая? Что в ней проку? Другое дело жизнь мирская, широкая, привольная! Настанут вот святки, пойдут игрища, на которых парни, девки, пляски.

— Эх, мать честная! — восклицает он вслух.

— Что такое? — спрашивает купец, начавший снова впадать в дремотное состояние.

Цыганок опускает веки, издает сонный сап.

Одеты путники добротню. Турбин, например, в пыжиковом полушубке, в медвежьей дохе, в бобровой шапке, в собачьих мохнатках, в поярковых валенках. Остальные — попроще; кучер — в собачину.

Кибитка у Турбина тоже добротная, крытая сверху кожей, снизу — пыжиком.

Морозы начинаются рождественские, но в горной местности без ветра; стоит здесь всю зиму тишь да гладь, да Божья благодать! Правда, благодать эта порой переливает через край, прошибает медвежьей доху и забирается Турбину под пыжиковый полушубок. Тогда велит он Цыганку задвинуть передний полот кибитки.

Особенно донимает холод, когда кибитка перебирается через Карлыкский перевал. Тут Сибирь с одной стороны, двухверстная высота — с другой, дают о себе знать. В кибитке-то еще можно терпеть. А на облучке?..

На облучке кучер ежится, крикает, оборачивает к седокам обледенелую бороду и говорит синими, набухшими, еле шевелящимися губами:

— Галактион Герасимыч! Студено-от шибко. Кабы чего для сугреву.

Турбин достает фляжку французского коньяку, передает ее кучеру через Цыганку, с наставлением:

— Хлебки маленько. Да смотри, осторожно. Зелье о семидесяти градусах.

— Знамо, маленько. Раз-можно много. Боже борони. Во

здравие такое, а родителям твоим во упокоение!

С оговорками этими кучер прикладывается к фляжке раза три рядом.

Цыганок смотрит с завистью на него и сожалеет, что сидит в кибитке в относительно тепле, а не с ним рядом на облучке.

Процедура «сутрева» повторяется, пока перебираются они через перевал, раза три. На четвертый кучер, обернувшись за фляжкой, валился с облучка в снег головой. Лошади пугаются, берут вскачь, Цыганок ловко довит мотающиеся в воздухе вожжи, перебирается на облучок, осаживает тройку. Недаром гонял он до этого ямщину ряд лет.

Потом, когда разыскивают они кучера и втаскивают его мертвецки пьяного в кибитку, настает черед и Цыганку попользоваться купеческой фляжкой. Только на этот раз купец поступает осмотрительнее и реже дает фляжку Цыганку, боясь чтобы и с ним не приключилось такого же «сутреву», как и с кучером.

На очередном заезде в деревню для чаепития, тот просыпается, божится, что пьян же был, а с ним что-то попутчилось, и что более притчи этой не случится, завладевает облучком и погоняет тройку дальше и дальше на северо-запад, благо дорога начинает идти вниз по реке Чарыш. На пути большая деревня, постоялый двор, ночлег в нем.

Вечером Цыганок выходит за ворота. Надвигаются сумерки. За соседним домом через улицу светится багрянцем вершина горы Королевский Белок. Белок — понятно: снежная вершина. Но почему ж «Королевский», когда в России королей нет и никогда не было.

Расплывчатое освещение Королевского Белка ползет вверх, концентрируется на вершине, сгущается и из багрянца переходит в темень.

Мороз крепчает. На улице появляется девушка в душегрее, в пушистой шали. Под полсапожками ее звонко хрустит снег, карие глаза устремлены на окна противоположного дома; в одной руке у нее прялка, в другой художественно расписанное дощечко, кленовый гребень. Поравнявшись с интересующим ее домом, вскакивает она на крылечко, скрывается за дверь.

С противоположной стороны появляются две другие красавицы с прялками в руках, поглощаемые той же дверью.

«Посиделки» — догадывается Цыганок, сдвигая шалку набекрень и почесывая затылок.

Часам к десяти вечера пробирается он тайком, в темноте, через улицу и скрывается за вожделенной дверью. Там, в большой прихожей, вдоль лавок прялки, расписные гребни, донца, на которых сидят златокосые, румяные девушки; они тербят нанизанные на гребни кудели, вертят прялки, поют:

Ты, Алтай наш Алтай, —
Алтай батюшка!
Высота ль, глубота
Беспредельная!
Ты вскормил нас, вспоил
В годы давние!
Сохранил, боронил
Веру праведную!
Веру праведную,
Праделовскую!

Девушки поют песни, прядут пряжу; парни толпятся под палатами, пожилые женщины заправляют лучины, блюдут чин и порядок на посиделках, глаз не спускают с девиц. Последние заводят вместо алтайской общероссийскую песню:

А как в том во селе, Карачаеве,
А как жил, поживал, Илья Муромец.
И справляется он, снаряжается
Пострелять, погулять в чистом полюшке.
Смотрит он идет рать, рать несметная, —
Рать несметная, бусурманская,
Полонить, покорить всю Росеюшку.
Стал Илюшенька-от, призадумался,
Как от силушки той поизбавить Русь?
Видит он растет дуб да коряжистой,
И он рвет себе дуб тот увесистой,
И берет-от его в праву рученьку;
Да взмахнет тем дубком да налевушку:
Нету пол рати той, бусурманския.
А взмахнет тем дубком да направушку
И сметет он ту силу, силу вражю, —
Силу вражю до един бусурман.

Одиннадцатый час на исходе. Посиделки близятся к концу. Отдав дань надсмотрщицам, девушки выталкивают из-за прялки не в пример другим смягланку. Та вылетает на средину избы; избоченивается, притопывает, полсапожками по звонкому полу и прихожую наполняет не эпические мотивы, а плясовые:

Как у нашего суседа.
Весела была беседа —
Самотешная,
Распóтешная!

Остальные девки прялки на лавки, беленькие платочки в воздух, стук, бряк — и пошла дробь подкаблучная. Парни только того и ждут, и кто в присядку, кто — в прискок входят в круг. Пол стонет от десятков каблуков, стены избы дрожат, настывшее на морозе оконное стекло лопается от сотрясения воздуха, а залихватский мотив продолжается:

Как у нашего шабра
Вволю всякого добра.
У Варюши-медовуши
Нету милова дружка!

Когда пляс достигает вершины, Цыганок не выдерживает внутреннего напряжения, взвизгивает, скоком под потолок входит в круг. В это время за стеной раздается возглас петуха. Пляс обрывается, девушки спешат одеться, разобрать прялки и — по домам, ибо знают, приди какая из них домой после пения петухов и прощай для нее в этом году и посиделки и близящиеся рождественские игрища.

Посиделки расходятся. Хозяйка убирает золу со светца, затыкает тряпкой образовавшуюся дыру в стекле от вывалившегося из него угла, хозяйские девицы подметают пол, переносят из соседней комнаты и водворяют на полати младших братьев и сестер, племянников.

Добрым ли заведением является институт посиделок на Руси?

На взгляд автора, поскольку он наблюдал жизнь посиделок, заведение это неплохое. Во-первых: дает разрядку деревенской молодежи; во-вторых: на посиделках парни и девушки приглядываются друг к другу, проверяют чувства в преддверии Мясоеда — этого основного Гименеева установления в году. На них окончательно стягиваются зрелые все лето брачные узелки деревенской молодежи.

С нравственной стороны сибирские посиделки вне сомнений. Собираются они по очереди в семейных домах, где есть девицы на выданьи. И ежели бы хозяйка дома допустила во время посиделок вольность девическую, то поступок ее навлек бы на нее презрение всей деревни, лег бы пятном на дочерей ее. Созываются посиделки по концам улиц в первой половине недели.

В деревне Чарышской путников застает Рождество. Постоялый двор пустует по случаю праздника, и Турбин занимает в нем две комнаты, заказывает кутью, окорок, набор деревенских колбас, медовух, банится со спутниками. Отец Савватий служит в сочельник в одной из комнат раннюю вечерню. После вечерни, садятся за стол. Пригожая хозяйская молодуха приносит кутью, взвар. Заходит хозяин. Подрезанные под горшок волосы его густо намаслены деревянным маслом. Поздравляет проезжающих с наступающим праздником и осведомляется пускать ли колядников, которые скоро начнут появляться.

— А как же! — восклицает купец. — Колядка установлена не нами, не нам ее и искоренять. Пусть идут. Разменяй токмо бумажицу сию на гривенники.

И колядники появляются. Сначала несколько мальцов лет по девяти, с сумками через плечо. Входят в горницу, сдергивают шапки, крестятся; побойчее, вероятно вожак, спрашивает дозволения Христа пославить.

Купец дозволяет.

Христославщики затягивают рождественские ирмосы. Сначала вразброд, затем выравниваются и звенят голосами, как колокольчиками. Турбин хвалит их, одаривает гривенниками.

Колядников идет столь много, что приходится посылать кучера к хозяину за новой пригоршней серебра. Благо у того целый сундук его, вырученного за сено, овес в продаже их проезжающим.

В два часа ночи Савватий запирает дверь в квартиру и начинает править заутреню. На службе из посторонних никого, кроме хозяина, ибо деревня Чарышская не входит в приход его. После литургии разговляются, ложатся спать. По случаю праздника купец делает днерку лошадям. И скоты Господь Бог, любя, милует, говорит он.

Рождество — самый торжественный и долгожданный праздник народный. Не церковный, а народный. Пасха приходится либо на пахоту, либо на период подготовки к ней. Празднуется она народом обычно три дня; Рождество же — две недели, до Крещения. Спешных работ в деревне о ту пору не водится; задаст мужик корму скотине и — на боковую, а то — к дружку на беседу.

Женщины тоже не обременены в это время заботами; еды наготовлено загодя вдоволь; ну и собираются они гурьбой и либо семячки лузгают, либо обсуждают новости, вроде: «А вы знаете, девоньки, намедни проезжал мужик какой-то и сказывал на постоялом, что в Комарихе народился теленок о трех головах. И что одна голова у него мычит, другая по собачьи лает, а третья петухом заливается...»



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Отец Савватий, хотя и был занят большую часть ночи то колядниками, то службами, но на следующий день долго не спит. Часов в десять утра он уже поднимается на гору. В правой руке у него палица, левой — придерживает взваленные на плечи лыжи. Пушистого снега, по которому идет, вершка три. Подстилающая его снежная толща спрессована морозами, прочно выдерживает его. Лыжи в таких условиях излишни, но он несет их на себе, ибо склон горы, по которому поднимается, покрыт жиденьким древостоем, среди которого легко можно будет лавировать лыжами при спуске с горы.

Деревня Чарышская — последнее горное поселение на их пути. Дальше на северо-запад пойдет степь. Отец Савватий уроженец степи и его неудержимо влечет взглянуть сейчас, не дожидаясь, когда спустятся они с гор, на стихию детства, колыбель юности. Горы сужают горизонт, подавляют мысль. Иное дело равнина. Тут есть, где разойтись глазу, разгуляться душе.

Поднимается о. Савватий на гору несколько часов. Но вот, взбирается на вершину, оглядывается. На востоке нагромождение гор, утесов, хребтов. Низ хребтов этих темнеет в лесах, верх — блистает на солнце до боли в глазах снегами, горит льдами. На северо-западе стелется с двухверстной высоты снежная равнина; ее режут с северо-востока на юго-запад темные линии степных боров: Алейского, Барнаульского. Касмалинского с высоты этой не видать. На юго-западе ленты боров прерываются, открывая вид на неоглядные степные, сейчас заснеженные просторы.

Савватий стоит неподвижно на горе, устремив пристальный взор голубых глаз на родные просторы. Тень стоящей на вершине горы, обглоданной ветрами, опаленной молниями горной лиственницы удлинняется с минуты на минуту, достигает ног его, скользит дальше, а он стоит и смотрит вдаль, как зачарованный колдуном великан. Тишина обнимает его немая, мороз забирается ему за полушубок, тень от горы ложится на деревню. Все это совершается, а Савватий стоит, как соляной столб Содомский. Ежели бы не вырывающийся время от времени парок изо рта его, то его и впрямь можно было бы принять за столб соляной.

Наконец он глубоко вздыхает, крестится, подвязывает лыжи, скользит вниз, как заправской лыжник. Лыжной палкой

служит ему долголетний спутник кий.

Через некоторое время стоит он в кухне постоянного двора и оттаивает над лоханью наморозы льда на бороде.

На следующий день тройка, проскакав больше сотни верст, въезжает уже затемно в Пospelиху — большое предгорное селение. Мороз стоит жестокий; все в кибитке чувствуют его; висящая над заснеженной землей полная луна тоже видимо зябнет, ибо облокается в багряные одежды.

В Пospelихе путники расстаются; путь Турбина лежит на юг, в Семипалатинск; Савватий остается на месте; здесь начинается округ прихода его, тут застанет его Новый Год.

Старообрядческая церковь Новолетия первого января не празднует. Народ же — патриархальный старообрядческий народ, храня стародавние дедовские обычаи, позволяет себе пойти в этом вразрез с церковными установлениями. С наступлением темноты в дом единоверца, у которого квартирует Савватий, вваливается под Новый Год ватага ребят, крестится на образа и запускает по комнате смесью пшеницы овса, ячменя, гороха и прочего, находящегося в обиходе сибирского двора зерна, приговаривая:

Сею, сею, посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
На счастье, на дождицу,
На хорошую пожницу!

С последними словами ребята особенно усердствуют и горох летит в образа, в окна, тархтит по деревенской стене, по столу, по лавкам.

— Хорошо, робятушки! — говорит певчим, в растяжку говорком хозяйка, одаривая их пряниками, конфетами. — Токмо маленько потише. А то стекла побьете в окнах.

Ежели в рождественском прославлении Рождества преобладает в Сибири элемент христианства, то в смежнице его — колядке новогодней — пережитки неподдельного язычества. В дальнейших словах колядники высказывают пожелание, чтобы у хозяина в будущем году были бы закрома полны зерном, пригоны — жеребятами, телятами, ягнятами, поросятами, а погреба — соленьями, вареньями, медами и прочими сладостями. При этом все сие испрашивается в дом у добрых дедушек Сварога, Велеса, Авсена и других языческих божеств. Как ни стараются церковь отвлечь население рождественскими прославлениями Христа от языческого Авсена, но достичь ей этого не удается.

В языческую пору славянского бытия Авсень стал справляться с тех пор, когда кудесники и волхвы стали замечать поворот солнца к теплу, приблизительно на третий день после зимнего солнцеповорота.

Пришедшее на Русь христианство вносит корректив в народные празднества. Но древний Авсень, однако, не уходит в небытие, а отодвигается на несколько дней вперед и продолжает жить, сначала под собственным именем, затем, с перенесением Новолетия с первого сентября на первое января — под именем Новолетия. И живет он, Авсень, в медвежьих уголках страны до сих пор. К сожалению, только в медвежьих уголках. Остальная Русь, особенно городская, забыла этот поэтический народный праздник давным-давно.

Небезынтересно будет поговорить здесь об этимологии слова «Авсень».

Многие историки отождествляют имя это с языческими божествами. С. М. Соловьев, например, считает, что Авсень — измененное Ясень, то есть — Солнце.

А не проще ли было корень слова этого искать не в мифологии, а в лингвистике. Авсень — вероятнее всего, испорченное «О-весень» (весной, о весеннюю пору).

Речевой звук «о» произносился у полян, откуда происходит большинство древних обычаев, твердо — «о». Тот же звук «о» произносится у вятичей и их потомков, образовавших великорусский говор, мягко и переходит в неударных слогах в «а», например: мАнах, Абразец, но образ. Подчиняясь закону сему, звук этот в слове «О-весень», превращается в «А-весень». Ежели это так, то «А-весень» означает не божество, а время года — солнцеповорот, приближение времени к весне.

Древнеславянское имя существительное «весень» (весна), преобразованное префиксом «о» из именительного падежа в творительный «о весень» (весной) — автору строк этих доводилось не однажды слышать, странствуя по Сибири, от тамошних коренных крестьян-сибиряков, как на Алтае, так и в глубокой тайге. Там корейной сибиряк говорит, например, что падеж скота был в прошлом году не весной, а овесень, что маральих козлят нужно ловить не осенью, а тоже овесень.

Еще один древний славянский обычай удерживается сейчас на Руси только в медвежьих уголках — обряд свадьбы.

Самый древний Лаврентьевский Летописный Извод знает три рода женитьбы-замужества у древних славян — умыкание, хождение по невесту, привод невесты.

Ни один из древних обычаев этих не удержался на Руси ни в городах, ни в прилегающих к ним районах, ни вообще так

называемом «цивилизованном обществе». То, что не удержалось умыкание — Бог с ним. Но отказа от «хождения по невесту» жаль. В нем столько народной поэзии, патриархальности, красоты, которые можно встретить, как говорилось уже, только в медвежьих закоулках страны, например, на Алтае в чалдонских деревнях. Там отправлялось «хождение по невесту» до самого последнего времени. Остановимся на одном из них.

Близится Рождество, а за ним и Мясоед. Как ни строго смотрят родители за дочерями, но девице на выданье удастся перекинуться на посиделках словечком с полюбившимся ей парнем и уговориться с ним о сочетании браком близящемся Мясоедом.

Когда Филипповкам настает конец, жених и невеста кланяются в ноги родителям, открывают им имена избранных своих.

Дальше роль жениха и невесты в деле сватовства делается пассивной. На сцену выступают родители. Начинается обсуждение качеств кандидата в родственники, как с той, так и с другой стороны. Обсуждается, разумеется, не качество бровей и не длина кобыневесты; с лица воды де не пить. Обсуждается качество рук ее: насколько работаща, здорова, уживчива, уважительна, нет ли в роду ее из'яна какого? И ежели с этой стороны все обстоит благополучно, то выбор жениха одобряется.

То же самое происходит и у родителей невесты; с той только разницей, что на весы ставится еще и качество свекра, свекрухи, если имеются, то и золовок, материальный достаток жениха.

Но вот все статьи эти приводятся в ясность, жених и невеста ставятся в известность, что препятствий к браку их не встречается.

Наступает Мясоед и к невесте едут на тройке лошадей сваты, хотя бы и жила она за два дома от жениха. В сватах подвизается не сам отец, а обычно брат его, да еще кум.

Подкатив лихо к крыльцу, сваты неторопливо сходят с санок, привязывают к коновязи лошадей, медленно поднимаются на рундук, встречаются в сенях хозяином, вводятся в горницу. А у хозяйки накрыт уже стол, шумит самовар. За самоваром идет разговор о том о сем — почем продана пшеница, сколько переходит в лето яловых коров, каковы виды на весну.

Во время процедуры этой невеста сидит где-то в дальней комнате, томится, ждет решения участи своей.

Мало по малу самовар пустеет, медовуха кончается, старший сват крикает, гладит бороду, начинает долгожданную традиционную высокопарную речь:

— Всяк ядый хлеб насущный и пияй мед в дому чуждем, должен вознести хвалу Господу, благодарение хозяевам и отбыти восвояси. Сице подобает и нам. Но допрежь отхода, потщимси изложить желания своя, амо не праздно прибрели сюды-от. Наслышаны бо, што во всечестном доме сем есте товар красной. У нас же на товар ваш припасен удалой купец. Дак, ежели слух не ложен, то не продадите ли товар ваш, купцу нашему?

Хозяин думает, тоже гладит бороду и по некотором времени отвечает:

— Товар-от у нас есть. Наслышаны вы об этом не облыжно. Токмо товар у нас не лежалой, ходкой. Так что мы не торопимся сбыть с рук его.

— Это так. Да товар-то с каждым годом стареет, в цене падает. А нонче купец-от наш не поскупилси бы дать за него добрую цену.

В результате подобного рода словопрений, торг в конце концов приходит к благополучному завершению, торгующиеся улавливаются о приданом, о калыме, и мать вводит в горницу за руку «товар красной».

Товар этот валится в ноги сначала отцу, матери, затем — сватам.

С этого времени жених может появляться в доме невесты, но оставаться с нею с глазу на глаз — ни, ни!



После «сговора» начинается подготовка приданого. Собственно готовить его нечего; приготовлено оно давным-давно; сейчас же его только переглядывают, проветривают, откатывают, что нужно, рублем на валке, подгоняют по фигуре. Делает это деревенская портниха да ближайшие к невесте подруги. И по ходу работы поют песни, то грустные, то веселые.

Ой, гой ты еси, гой Настюшка,
Отецкая дочь ты Васильевна!
В каку дальнюю, во дороженьку
Снаряжаешься-от, собираешься?
А и нету с той, со дороженьки,
А ни сходу-от, ни свороту.
Ты иди по ней, по дороженьке,
Все прямехонько да скорехонько.
А истомишься ль изгорюнишься,

И никто тебе слова ласкова
Ни промолвит, свет, ни восчувствует,
А ни свекорь-от, ни свекровушка,
А ни лютая, ни золовушка!

Наступает тишина, прерываемая лишь стуком рубля по валку.

Тут полагается невесте уронить слезу. И пара крупных, переливающихся на свету аквамаринами росинок повисает на соболиных ресницах ее, скатывается на розовые ланиты, дрожит на них. Тишину прерывает звонкий, налегающий на «о» голос зачинщицы:

Как у наших у ворот
Удал молодец идет.
Ен идет да поет,
Да посвистывает,

Остальные подхватывают, выбивая дробь каблуками:

В резны ставеньки Настюши
Ен поглядывает.
Эй ты, парень, пустолобой,
Не ходи нашей дорогой,
Ходи улицей,
Кричи курицей.

Никем из посторонних не стесняемые девушки, побросав работу, начинают танцевать.

Из прихожей доносится знакомый голос. Белье, кружева летят под лавку, дверь растворяется, на пороге появляется жених. Затейница заводит хвалебную песнь ему:

Ах ты, князь ты наш князь,
Князь наш миленькой...

В один из вечеров, когда приближается день свадьбы, состоится прощальный девашник.

На следующий день невесту везут в церковь. После венчания доставляют ее не к жениху, а домой, под родительский кров.

Через малое время туда же приезжает на тройке, управляемой лихим кучером, жених в сопровождении друга, обычно уже женатого человека. За невестой полагается в'ехать во двор. Но ворота крепко заперты, забаррикадированы парнями того кутка, в котором проживает невеста. Забаррикадированы, разумеется, не всерьез, символически.

Появившийся у баррикады дружок жениха с четвертью искрящейся на морозе медовухи и с зеленой ассигнацией в руках улаживает дело, ворота растворяются, поезд из нескольких троек въезжает во двор.

Но тут новое препятствие на пути жениха к невесте — ее десятилетний, восседающий рядом с нею за столом со здоровенной палкой в руках, брат.

— Чего ты тут так грозно сидишь? — спрашивает его вошедший с женихом в горницу дружок.

— Чего сию? Сестру стерегу, — отвечает он.

— От кого?

— От жениха.

— Чего ж тебе стеречь ее! Она теперь не ваша, а наша.

— Коли ваша, так плати деньги.

— За что?

— За то, что кормили ее, поили.

Дружок кладет на стоящую перед мальцом тарелку четвертак. Взмах палки и черепки тарелки разлетаются по столу, валятся на пол.

На другую тарелку падает со звоном целковый. Малец принимает выкуп, уступает место жениху. Начинается пирование.

Гостями наполняется весь дом. Говор идет сначала тихо. Но по мере того, как кубки медовухи совершают круг за кругом, речь оживляется, делается шумной. Кто-то кричит «Горько!» Другие голоса подхватывают крик. Невеста краснеет, но поворачивает алые уста к жениху.

Пирующие пьют медовухи много. Но жениху и невесте пить не полагается ни капли, ни в этот день, ни в следующий, и ни во все то время, в течение которого будет продолжаться свадьба. Они даже и есть не едят за общим столом.

Пирование длится в доме невесты до конца дня. К вечеру, препоясанный через плечо белым полотенцем дружок встает и приглашает гостей в дом жениха. Последний сей поднимается, берет невесту за руку, ведет ее из-за стола. Стройная, с уложенными короной под кокошником косами, невеста упирается, закрывает белым рукавом алое лицо свое, вырывает руку, но выходит на средину горницы. Там стоят с образами в руках отец, мать. Невеста теперь уже непритворно вырывается из рук жениха, падает в ноги отцу, лобызает их; потом — матери. Вставая и отирая слезы с лица, благодарит папеньку и маменьку за ту заботу и ласку, которую видела в доме их. Подружки по этому случаю поют:

Ой гой ты еси, свет ты батюшка!
А и гой ты еси, честна матушка!
Снаряжайте вы-от во дороженьку —
Во дороженьку, свет да Настюшеньку!
Вы давайте ко ей на прощаньице,
Ай последнее-су целованьице.
Чтоб ей жить не тужить, не печалитси.
И всю жисть молоду проводить во меду.

Прощальную сцену подружки завершают не тоническим размером стиха, а куплетным:

Спасибо тятеньке и маменьке,
Что Настюшу берегли,
В неволе лютой не держали,
Замуж волей выдали.

Невеста, осушив лицо кружевным платком, выходит в сопровождении жениха во двор; в сенях обсыпают ее зерном, звонкой монетой, накидывают на плечи парчовую на беличьем меху душегрею, на голову соболью шапочку, вместо кокошника, поверх нее пушистую оренбургскую шаль.

Во дворе ждет молодых тройка не лошадей, а зверей, с косматыми гривами до земли, с подвязанными к дуге колокольцами; сбруя на ней с серебряным набором, с разноцветными лентами на хомутах, на шлелях, на дуге, на оглоблях.

Дружок откидывает полог; жених в дедовской мерлушечьей, крытой сукном сибирке, в бобровой шапке, подсаживает невесту в санки, сам садится рядом с нею; дружок, заняв место на передней скамейке, велит трогать.

Тройка выезжает воротами на улицу. Сзади гремит медь литавров, лошади круто рвут налево, санки ложатся на отвод; кучер с двоящейся на плечи бородой, сдерживает могучими руками тройку, направляет ее вдоль улицы, санки принимают нормальное положение, курят полозьями на поворотах кривой чалдонской улицы. За тройкой жениха несется вскачь около дюжины троек с родителями, братьями и сестрами, дядьями и тетками невесты, с подругами ее, с прочими гостями. Гром литавров настигает. Передняя тройка прибавляет ходу, колокольцы переходят из мерного перезвона на беспорядочный. Коренной, выгнув шею дугой, вытянув ноги, меряет улицу залихватской рысью; пристяжные не отстают от коренника, колотят снег во всю скаковую мочь свою; комья снега летят из под ног их, слепят молодым глаза. Звуки колокольников, бубенцов, литавров, гиков, криков сливаются воедино, потрясают мирную деревню.

Мирная патриархальная деревня и такой гик, крик, гром, галоп! Зачем они?

На этот вопрос не ответит ни один из участников поезда, ибо не знает истории народа. А ежели и знает, то не дальше появления на путях его славного богатыря, Ермака Тимофеевича. А кто попытается ответить на поставленный вопрос, тот скажет: «Так делали деды наши, так делаем мы, так делать будут и внуки наши.»

И они, не зная сути дела, скажут истинную правду. Обычай этот уходит корнями в седую древность, восходит к тем временам, когда славяне делили еще общую судьбу арийского народа, жили не в светлых двухэтажных домах, как родители теперешних женхов и невест, а в темных, полусрубных землянках, и невест своих не высватывали, а умыкали, защищая умыкание это звоном оружия, устрашая преследователей криком, гиком.

Редактор Лаврентьевского Летописного Извода, чернец Киево-Печерского Монастыря Нестор, комментируя существовавшие еще до него более ранние летописные изводы, свидетельствует, что славяне, «Имяху обычаи свои и закон отец своих и предания кождо свои. Поляне бо своих отец обычаи имут; кротки они, и стыдение к снохам своим и к сестрам, к матерям и к родителям своим, к свекровем и к деверем — великое стыдение имяху. Брачный обычай имяху: не ходит зять по невесту, но приводят ее вечером, а завтра приношаху по ней, что владуче».

«А древляне, продолжает он дальше, живяху зверским образом, живуше скотски, убиваху друг друга, ядаху все нечисто. И брак у них не бываше, но умыковаху у воды девицу. И Радомичи, и Вятичи, и Север один обычай (с древлянами. П. А.) имяху, живяху в лесе, якоже и всякий зверь».

Нестор или предшественник его, заносит в летопись показания о полянах современниках его, какими видит их сравнительно в культурную эпоху бытия их, когда Русь поставляет жен многим королям и герцогам Европы, и сама женится на гречанках, самых цивилизованных по тому времени женщинах. О прочих же славянских племенах свидетельствует он по более ранним источникам, а то и по навету недругов их. К тому же, сам Нестор выходец из полянского племени, воспитанник Киевского Печерского Монастыря. И естественно он всячески охаращивает родичей, а враждовавших с ними в раннюю пору древлян, радомичей, вятичей и северян охаивает. Институт же умыкания невест, а не высватывания или привода, свойственен был всем племенам и народам в младенческий период бытия их, в

том числе и полянам.

Чем умыкание это вызывалось?

Вызывалось оно не зверским инстинктом, а нарушением установленных природой демографических основ бытия — существовавшим в древности многоженством, порождавшим нехватку невест. Многоженство свойственно было не только древлянам или вятичам, но и полянам. И даже в более позднюю пору, в пору крещения Руси. Вспомним сколько жен имел великий князь Киевский Владимир, в предверии события этого? И каким способом добывал он себе очередную жену, княжю Полоцкую Рогнеду?

Таким образом, повествование летописца о том, что невесты текли в дома полян самотеком при нехватке их, а не умыкались, идеализация положения.

Но мы отклонились от повествования. Продолжим его.

Слушаешь сейчас в медвежьих уголках, на задворках страны, рассказы стариков о свадебных обрядах чалдонов, а иногда и сам наблюдаешь, и диву даешься, как донес народ от срубовой культуры до культуры небоскребов, электричества, радио аромат того неизмеримо далекого времени. Плата за невесту парням у ворот современной свадьбы воспоминание древнего выкупа ее у рода, а плата брату ее за столом — выкуп невесты у семьи. Звон литавров, гиканье, крики, скачка лошадей — отзвук еще более древнего свадебного обычая — умыкание невесты.

Хотя жених и живет от невесты всего в семи домах расстояния, но свадебный поезд мчится по всем улицам большой сибирской деревни, делая крюку верст пять, сбивая с толку воображаемых преследователей. Невеста сидит в санках алая, возбужденная, счастливая, как только может быть счастливой девушка, выходящая замуж по семнадцатой весне бытия своего. Жених, русый красавец, обхватывает рукой стройный стан ее, зорко глядит вперед, чувствует себя сейчас инстинктивно не законным женихом, а древним умыкателем.

Но вот, взмыленные звери-лошади круто оседают под умелой рукой кучера и с шумом вкатывают санки в знакомые ворота. На крыльце стоят с хлебом-солью и с образами свекор и свекруха. Он — широколицый, плечистый бородач; она — маленькая, худенькая, с добрым лицом старушка. А за ними деверья, жены их, золовки. Невестка падает на разостланном половике в ноги свекру, свекрухе, кланяется новым родичам; за нею — жених. Родители благословляют их, ведут по выкатанным половикам в горницы верхнего этажа, к давно ждущим столам. Домочадцы посыпают молодых зерном, деньгами.

Жених и невеста принадлежат обычно большим семьям, у которых много родственников. Сваты объединяют свадебное празднество, длящиеся недели две, ибо каждый из родичей зовет молодых, а с ними и родных, к себе.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Мясоед выдается в этом году длинным, достаточным, чтобы об'ехать отцу Савватию старообрядческий приход свой, перевенчать всех вступающих в брак, покрестить младенцев, отпеть покойников, уврачевать души чающих утешения прихожан.

Летом о. Савватий предпочитает обходить приход пешком. Зимой не сделаешь этого; первый повстречавшийся урядник привяжется и потянет к становому. А свернуть с дороги в сторону не свернешь. Об'езжает приход свой поэтому на лошадях; церковные люди везут его в этом случае куда угодно. И сегодня держит он путь на паре крестьянских лошадей по накатанной и провешенной степной дороге из одного селения в другое. Расстояние между ними около пятидесяти верст; и на пути ни кола, ни двора; снег да снег беспредельный. Лошади бегут по снежной дороге мерно; сани, хотя и с подрезами, но по укатанному, как стекло, большаку мотаются, в зависимости от наклона дороги, с одной стороны в другую, что замедляет езду. Возница сидит на облучке и мурлыкает под нос псалом какой-то. Цыганок, закутавшись с головой в тулуп, дремлет рядом с наставником. Последний сей блуждает взором по снежному, иссиня белому насту, без особой мысли, из любви к простору.

— Ты не спишь, отче? — обращается к нему возница, обернувшись.

— Нет, — отвечает Савватий. — А что?

— Да вишь кабыть буран-от собирается.

— Буран? Откуда взяться ему?

— Спрашиваешь, откедова? Глянь кось, как светило-от ображается.

Савватий поднимает голову. Солнце, с утра ясное, сейчас как бы чем-то засеченное, клонится уже к западу; сфера его в ореоле наподобие головы святого. Небо, прежде голубое, теперь белесое.

— Видишь? — спрашивает возница.

— Вижу.

— К бурану энто. Да и волки-от меряют пространство в сторону колка. Эвон, гляди!

Савватий смотрит, куда показывает возница кнутом. По белому снежному полю передвигается на север пара едва заметных темных точек.

— Энти, волчьи дети, лучше всякого Брюса предскажут буран-от. Ни за что не останутся в степи, когда надвинется он.

Пока путники переговариваются, небо меркнет и из белого делается серым, а солнце едва светит сквозь небесную мглу. А еще через какое-то время в воздухе появляются первые хлопья снега, переходящие вскоре в густой снегопад, а в бок начинает дуть спорый ветер, тянуть наискось дороги поземку. Лошади переходят с бега на шаг. Сопровождающие дорогу вешки, раньше хорошо видимые, сейчас утопают в серой сумятице. Возница останавливает лошадей, Цыганок просыпается.

— Что такое? — спрашивает он спросонья.

— Нешто не видишь што? — отзывается возница. — Хочу, — продолжает он, обращаясь к Савватию, — отпречь пристяжного. Дорогу делается не видно, вешек — тоже. Дак чтобы не сбил он коренника с панталыку. И покормить его, коренника-от.

Отстегнув пристяжного, привязывает он его сзади, насыпает в кормушку ячменя, относит его кореннику, а сам тычет кнутовищем в снег на обочине дороги.

— Как? Твердый али рыхлый, — спрашивает его Савватий.

— Кабыть рыхлой, и его учует коренник, ежели оступитси. Конь он старой, умной.

Лошадь, поев трогается; ветер к тому времени уже грохочет, снег завихряет из стороны в сторону, темень окутывает землю. Возница заматывает вожжи за облучок, крестится, всовывает руки в рукава, говорит Савватию.

— Заводи, отче, правило умное на путешествие. Буран-от надвигается злющий.

Через некоторое время лошадь останавливается. Ямщик сходит с саней, пробирается вперед, придерживаясь оглобли.

— Что там? — спрашивает его Савватий по возвращении.

— Ничего особенного. Снег-от сырой, ну и залепливает

коню глаза. Дак он останавился протереть их об ноги.

Лошадь трогається. Ямщик, покормив ее, не вмешивается ни во что: ни куда идти лошади, ни как идти — быстро или тихо. И это разумно, ибо вмешательство в дела ее сбивает ее с панталыку, обезличивает, и она идет не туда, куда нужно, а куда дергает вожжа.

Ветер к тому времени не дует, а рвет, треплет шлею на кореннике, воротники седоков.

Когда бурана не было, навстречу попадались то и дело обозы с сеном, с зерном, с кожами, с иной какой-то поклажей. Сейчас никого на дороге нету. Только ветер свищет и крутит снегом в неимоверной силой.

— А что, рабе Божий, — обращается к вознице Савватий, подавшись к нему лицом. — По дороге жила никакого не предвидится?

— Никакого, отче.

— А Гоноховские займки?

— Дак они ж в стороне. Да и дорогу на них в кутерьме этой не сыщешь.

Кругом действительно кутерьма. Ветер воет, крутит, швыряется тучами снега то сзади, то сбоку, то сверху, то как будто даже и снизу. Одеты путники добротнo: Савватий с Цыганком в полушубки, в тулупы, в валенки, в меховые шапки-ушанки, в мохнатки, надвигающиеся на рукава до локтей. Возница и того лучше: в двойную, шерстью наружу и внутрь собачью доху поверх полушубка, в киргизский малахай, в киргизские же кожаные пайпаки на толстом войлочном чулке с раструбом выше колен, в меховые киргизские чимбары, в мохнатки. В общем — с головы до ног закутан в собачину.

Киргизы, исконные степняки, выработали за века идеальный вид зимней степной одежды. Русский треух хорош, но отвороты его коротки, едва прикрывают шею; киргизский малахай — подобие русского треуха, но с длинными отворотами, прикрывающими не только шею, но и плечи, предохраняя проникновение за шиворот, как холода, так и снега во время бурана.

Русские валенки удовлетворительно служат только в морозную погоду; в оттепель это коварная ловушка: быстро намокнув, они потом, когда ударит мороз, оледеневают, замораживая ноги. Сколько человек лишается в Сибири по этому случаю ног и даже жизни! С киргизским пайпаком этого не случается.

Савватий сейчас сидит в саях и чувствует, как за шиворот заползает к нему снег. Он достает из котомки башлык, на-

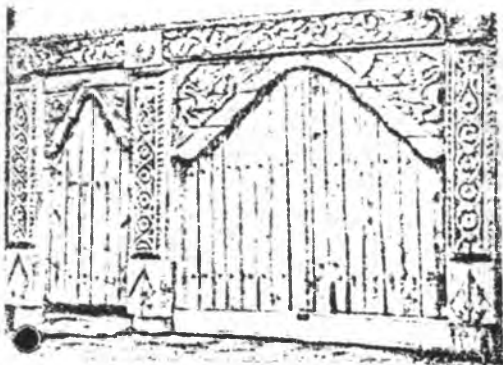


Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине...

А.С.Пушкин



Отчий дом. Под его кровом вместе
жили деды, отцы, сыновья и внуки.



Въезд в усадьбу.

тягивает его на голову поверх шапки и воротника, припоминая, как однажды в молодости едва было не замерз, сбившись с дороги и вымокнув до пояса от заползавшего за шиворот снега. Только промысел Божий спас его тогда от смерти.

Цыганок, глядя на принципала, вторит ему.

Буран разыгрывается не на шутку. Впереди спина возницы видна еще. И круп лошади. А дальше — непроглядная стальная мгла. Белая обочина дороги сливается в снеговорот в единую вертящуюся массу, порождающую иллюзию, что в мире ничего другого, кроме снега, нет. И что снег этот, а вместе с ним дорога, сани, возница, лошади, он, Савватий, вертятся, перемещаются, летят в бездну какую-то, о что-то ударяются. И то, о что ударяются бесформенное, холодное. Он просыпается. Явь оказывается не лучше сна; лежит он ниц на снегу, голые руки его уходят в рыхлый снег, возница, Цыганок барахтаются рядом; последний колотит его валенком своим по голове. Проходит какой-то миг и он, Савватий, поднимается. Ветер снова валит его на снег. Ямщик подползает к нему, вопиет в лицо:

— Язвило его! Ветер-от! Шибко занес кошевку, ударил его о застругу, опрокинул. Подымайси!

Савватий поднимается на колени, подползает к санкам, хватается голыми руками за кузовок, вваливается в него. Кошевка трогается.

— А мохнатки иде? — спрашивает возница, ощупывая в темноте голые руки пастыря.

Тот осматривается.

— Ежели обронил — не ищи. Не сыщешь. За тридевять земель они таперича. Хорошо, что Буланка-от мой остановилси, когда опрокинулась кошевка. А то хана бы нам. Он-то куда-нибудь может быть и доставит нас. А без него не добратси нам никуды. Пойду покормлю его.

Он берется за вожжи, останавливает сани, наполняет ячменем кормушку, пробирается к лошади, возвращается назад. Привязанный сзади пристяжной, учуяв корм, ржет; ржет он над ухом Савватия, но тот едва слышит его.

— Что, отче, руки чай зябнут? — спрашивает его возница.

— Начинают.

— А ты вдень не токмо руку в рукав, но и рукав в рукав. Так потеплее будет.

Савватий следует совету и начинает читать Правило на спасение странствующих, путешествующих.

По некотором времени его начинает снова одолевать дремота. «На замерзаю ли?» — думает он, припоминая рассказы бывалых людей, что замерзающих не удержишь, клонит ко сну.

Двигает он рукой, ногой. Никаких отклонений от нормы. Но ко сну клонит так, что он не может дочитать до конца Правила. А прежде мог проводить за молитвами ночи.

Он борется с дремотным состоянием сколько может, но в конце концов не выдерживает, прислоняется к дремлющему Сисою и утопает в серой мгле...

Но вот кто-то трясет его за плечо; он слышит это, но выйти из дремотного состояния никак не может. Башлык сползает с головы его, в лицо ударяет холодным снегом, а он остается скованным по рукам и ногам.

— Да проснись ты, отче! Околеешь, — вопиет ямщик.

Савватий делает невероятные усилия, тшится подняться, но какая-то неудержимая сила клонит его в угол, зовет поспать еще хотя бы минуту.

Ямщик дает ему оплеуху — одну, вторую, — пытается выворотить его из кошевки. Савватий наконец просыпается. Дрожь потрясает тело его.

— Ты вот спишь, а мы с дороги сбились, — продолжает ямщик.

Савватий слышит столь неутешительное известие, но воспринять не может, ум его бездействует, язык липнет к гортани, тело сотрясается. Единственно, что в состоянии он сделать, это вывалиться из кошевки и приняться двигаться. Буран сшибает его с ног, он подымется и начинает бег на месте, держась за облучок кошевки. Немного согревшись, спрашивает ямщика, что молвил тот давеча?

— А то и молвил, что сбились с дороги.

Савватия из озноба бросает в жар.

— Сбились с дороги? — переспрашивает он.

— Есте. Нечистой Буланку свел.

— Давно?

— А кто его знает. Заметил перед тем, как разбудить тебя.

Всплывший в уме казус этот наводит Савватия на мысль о мирно спящем в санках Сисое. Разбудив его ямщицким приемом, достает он из-под сидения, где хранится у ямщика ячмень, мороженные пельмени, палицу свою и начинает щупать ею снег, удаляясь от санок. Возница хватает его за полу тулупа.

— Чего тебе, — отзывается тот.

— Не дури, отче!

— Как это не дури?

— Не удаляйся от саней. Околеешь, аки таракан, отбившись от них.

Разговор происходит в творящейся снежной кутерьме криком на ухо. Кутерьма же эта никак не унимается. Рвет она с

них одежды, запрокидывает полы на головы, швыряется перетертым в пыль снегом, валит с ног.

Убедившись в безнадежности поисков дороги и покормив Буланку, путники отдаются по-прежнему на волю его. Тот трогает кошевку и тянет ее в каком-то одному ему известном направлении. А что направление это ему известно, видно из того, что тянет он ее одним и тем же углом кошевки к ветру.

Борьба со стихией продолжается несколько часов. Выбившись из сил, люди едва плетутся. Цыганок давно уже скулит, зная, что у Савватия где-то запрятана в котомке заветная фляжка. Но тот крепится. Ибо считает, что они еще не дошли до крайности.

Но вот и он начинает чувствовать, что пора, за которой может наступить катастрофа, настает — вынимает из котомки аварийную фляжку, когда возница останавливает лошадь на очередную кормежку, дает приложиться к ней вознице, Цыганку и сам прикладывается. Тепло незамедлительно разливается по телу, силы восстанавливаются, он лезет в кошевку, в которой уже сидит Цыганок, запахивает поплотнее тулуп, натягивает на ноги полог, на лицо — башлык, всовывает рукав в рукав, прислоняется к соседу и уплывает в небытие.

Возница, управившись с лошадью, трогает ее. Мохнатая сибирская лошадка плетется по снегу, наклоняется и то глотнет горсть его, то протрет об ноги залепленные снегом глаза. И плетется себе, да плетется. А ямщик, приняв внутрь горячего, не впадает в сонливость, как седоки его, но проявляет кипучую деятельность: то опередит кошевку и потреплет по гриве Буланку, то потрогает чересседельник, не туго ли натянут, то оправит и подоткнет под спящих полог, то засунет Савватия в рукав руку, чтобы убедиться, не стынет ли он, то снова останавливает Буланку передохнуть и идет к нему с кормушкой в руках. На одной из очередных остановок дает перекусить ячменя и отошавшему пристяжному меринку.

Через некоторое время положение начинает меняться в худшую сторону. Во время пути, как сбились с дороги, ветер дул в задний левый угол кошевки, потом начал задувать сбоку, сейчас дует в лицо.

Тянуть санки с двумя седоками против ветра куда тяжелее, нежели за ветром. Но лошадка тянет их; часто останавливается, но тянет. В какое-то время ветер снова меняет направление и начинает колотить кошевку то с одного боку, то с другого, то сверху. Затем внезапно стихает, лошадка останавливается, ржет, Савватий просыпается, оглядывается. Кругом темно, относительная тишина, возницы нет. Лошадка снова ржет.

«Должно по хозяину своему», предполагает Савватий.

И волосы становятся у него на голове дыбом.

«Выбился он из сил и свалился» — сокрушается седок по ямщику — «Возница выбивался из сил, оберегая меня, а я спал»...

Савватий вылезает из кошевки, берет в руки палицу, чтобы пойти на поиски ямщика и... встречается с ним нос к носу, облапывает тощую фигурку его лапищами своими.

— Радость, отец, не только для тебе, но и для мене, — резюмирует поступок наставника ямщик.

— Что за радость?

— А как жо! Чай приехали!

— Куды? — Спрашивает проснувшийся Цыганок. — На тот свет?

— Не на тот свет, а к жилью людскому.

В подтверждение слов его, из тьмы вырываются псы, набрасываются с лаем на прибывших.

— Цыц, — останавливает их голос. И перед прибывшими появляется не загробная, а живая душа.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Через минуту Савватий сидит с Цыганком в избе, на светце мерцает сальный светильник, в печке пылает огонь, варятся пельмени, у притолки стоит средних лет сибиряк и говорит, что попали они на Гоноховскую заимку, что он, сын Гонохова, зимует на заимке с семьей и работниками.

За разговорами в избу входит жена хозяйского сына с охапкой подушек, стеганых одеял, складывает их на лавку, принимается шуровать ухватом в печке. За нею появляется управившийся с лошадьми ямщик. В замеченное снегом оконце брезжит рассвет.

— Мир ти, Арсен! — встречает вошедшего хозяин.

— И ти мир да благоденственное бытие, Данил Прокопыч! Благодарствую за память.

— Тута, брат, не память, а телка.

При сем тот и другой дружно заливаются смехом. Высмеявшись Арсен обращается к Савватию:

— Тебе, отче, — говорит он, — невдомек, чему смеемся. А смеемся мы по дюже смешному делу. По третьему году, поделавшись с братьями по смерти родителя, царство ему небесное, и ставя хозяйство свое, удумал я обзавестись хорошими коровками. Ну и приезжал сюды купить породистую телку. Бычок-от был ужо припасен к тому времени. А так как о ту пору стояла зима, то, чтобы не заморозить телки, опутываю ее, оболакаю в тулуп, вздеваю на ноги валенки, наматываю на голову бабью шаль, бросаю в кошевку и гоню домой. И покедова гнал, скоко насмешек принял. Один встречный орет: «Проздравляю, дружок, с молодой женой!» А другой: «Куды спешишь? Никак супругу к фершалу везешь!» И все-таки привез я телку-от домой целой и невредимой.

— А не на Буланке ли часом приезжал ты в тот раз сюда? — спрашивает Савватий Арсена.

— На ем. А что?

— Дивен Господь Бог в промысле своем!

— Как энто?

— Наделив Буланку твоего и замечательной памятью и изумительным чутьем. Ты не заметил в кутерьме ответвления дороги на займку, а Буланка не проглядел ее и свернул на нее. Но займочная дорога не проселочный большак; она не укатана, ветер легко сдул ее и Буланка, очутившись без дороги, пошел целиной. Шел он наугад до тех пор, пока не попал с подветренной стороны в полосу дующего от займки ветра. А, учуяв в вихре снега запах жилья, повернул на него.

Отец Савватий достаточно поспал в пути в два приема. И когда хозяин, покормив путников, ушел, а Арсен и Сисой улеглись спать, зажигает свечу и принимается читать утреннее Правило. Прочитав его, оглядывается. Изба в одну комнату, бревенчатая. В ней все, что свойственно сибирским избам: русская печь, лежанка, лавки, божница, двухрамное окно, полати, на которых храпят спутники его. Освежившись водой из висящего у входа рукомойника, прислушивается. Со стороны двора доносятся голоса, мычание коров, блеяние овец, шарканье чьих-то ног.

В избу входит работник с охапкой дров, затапливает печь. За ним появляется хозяйка с пустым самоваром под мышкой.

Спутники Савватия просыпаются: сначала Арсен, затем Сисой.

Старшой их выходит во двор. Над головой не небо, а кры-

ша, слева — большая хозяйская изба, справа — ряд небольших изб для работников, прямо — коровий пригон, овечья кошара. Дух под крышей пряный, но теплый. Направо виднеется через ворота открытый двор, на котором стоят на выстойке лошади ямщика. Из избы выходит он сам. Зайндевелый Буланка, завидев хозяина, танцует на крепких мохнатых ногах. Конек он небольшой, но крепкий, с широкой и мускулистой грудью, хорошо развитым шерстным покровом. Хозяин снимает с него недоуздок. Конек вбегает под навес, падает на землю, катается по ней, обминая насевший на шерсть иней. Пристяжной следует примеру его. Выкатавшись, вскакивают они на ноги, принимаются бегать по двору, разогревая кровь.

К Савватию подходит хозяин, низко кланяется; за ним — хозяйка, переступает с ноги на ногу, не знает с чего начать. Савватий приходит на помощь ей, предлагает послужить молебен, ежели желают они.

— Как жо не желать, отче милостивый, — начинает таторить она. — Желание имеем, токмо затруднять совестимси. Но ежели ужо Бог привел тебя на заимку, то послужи, отче, Флору и Лавру, да Зосиме и Савватию Соловецким, да Борису и Глебу Стратотерпцам, с кроплением живности святой водицей. А то коровушки все яловятца да яловятца. А прошлым-от годом, о весень, каждая вторая овца, что ни ягнитца, то и мертвенькими...

— Хорошо, хорошо. Послужу. Но и совет подам. На заимке соль держите? Не для стола, а для живности?

— Нету, отче, не держим.

— А вы заведите. И давайте овцам лизать ее о всю зимнюю пору, когда не выходят они в степь.

— Энто можно; но нешто они будут лизать ее? Не будут. Энто не от соли, а от Бога. Дак послужите?

— Непременно. И не токмо молебен, но и Литургию, завтра поутру, в доме. А сейчас, схожу вот токмо в избу, облачусь и почнем молебен. А вы тем временем поставьте здесь стол, водицы принесите.

По выходе отца Савватия из избы в епатрахили, с крестом и с Евангелием в руках, пригон уже окончательно ободнял. Посреди двора стоит стол. На нем образ Спаса Ярое Око древнего письма. Иконы у истых сибиряков не только в избах, но и в пригонах. Так и здесь: над входом в конский пригон образ Флора и Лавра, над коровником — Зосимы и Савватия, над кошарой — Бориса и Глеба. Стол окружают домочадцы, работники, хозяева. Молебен начинается. Своды крытого двора наполняются голосами Савватия и Сисоя, поющим: «Царю Небесный».

Отслужив молебен, окропив освященной водой живность, разоблачившись и попив чаю, Савватий отправляется в сопровождении хозяина знакомиться с заимкой. На ней зимует сотни три овец, свыше сотни коровьего молодняка и яловиц, столько же конского поголовья, работает с десятков работников новоселов, не ставших еще на собственные хозяйские ноги.

Выходят наружу. Ветер с силой обрушивается на них, но не со стороны, а сверху. О силе его трудно судить, поскольку дует он не как обычно. Снег клубится где-то вверху, несется куда-то в пространство, на землю оседает лишь снежная пыль. Горизонтальная видимость ограничивается несколькими шагами. Об отъезде сегодня нечего было и думать. Бураны в Сибири, в виде бегущей поземки, обычное явление. Но буран такой силы, как сейчас, явление редкое. Когда же случится он, то дует по нескольку дней и выметает степь подчистую.

Савватий оборачивается к заимке. Перед ним большой дом с резным фасадом. Слева — ряд двухскатных амбаров, торцевой стороной на улицу. Справа — такая же низка тоже двухскатных изб, в одной из которых ночевал он.



Степная поземка



Вид заснеженной заимки

Вечером Савватий сидит в большой хозяйской прихожей. Хозяйка затерявшейся в снегах семьи ткет на верстаке полотно; руки ее попеременно ловят шмыгающий между основной отполированный до блеска челнок со шпулькой и посылают его обратно, после того, как верхний ряд основы поменялся местом с нижним; ляда раз. За разом ходит взад-вперед, прижимая уток к сотканному полотну.

Хозяин сидит на низком табурете и подшивает прохудившиеся детские валенки; старший сын его, парень лет восемнадцати, чинит конский хомут, дочь, несколько моложе его, вяжет детские варежки.

В смежной горнице идет своя жизнь. Незамужняя, горбатенькая сестра хозяйки учит там племянников и племянниц грамоте. Ученики и ученицы ее, в возрасте от семи до тринадцати лет, сидят за столами по разным углам и кто тычет указкой из гусяного пера в букварь и бубнит: «Аз, буки, веде, глагол, добро». Кто выводит грифелем по аспидной доске: «Мы» да «а» — «ма». А кто читает по Псалтири: «Сохрани мя, Господи, яко на тя уповахом.»

Старшая дочь, девушка на выданье, купает и укладывает спать маленькую сестрицу.

Буря бушует три дня. На четвертый стихает. На рассвете Савватий выходит наружу. На дворе мороз, каких не может припомнить он. Восток полыхает багровым заревом. Там, где должно появиться солнце, из-за горизонта торчат огромные, расходящиеся веером, огненные столбы. Снега не только не прибавилось за три дня бурана, но и тот, что лежал в степи до него, вычищен ураганом за это время подчистую и упрятан в балки, в овраги, в березовые рощи, унесен в тайгу — эту неизмеримую снежную кладовую Сибири. Вместо снега метелится по степи, как в летнюю пору, ковыль, типчак, овсяница, осока.

Савватий оборачивается. Займка — исключение. Вся она с постройками, с зародами сена, лежит в тиши охватывающего ее подковообразного бора, запорошенная снегом, занидеvelopая. Исходящие из труб ее дымки тянутся столбами еще в расцвеченное звездами, небо. Сосновый лес, форпост Кулундинского Бора в степи, огибает с юго-запада займку огромной серебряной подковой. Между избой, из которой вышел Савватий, и пригоном торчат засунутые в щель лыжи. Он подвязывает их, с позволения вышедшего хозяина, к валенкам, вооружается палицей, огибает займку, углубляется в лес; последний сей запорошен свежим снегом на аршин; в глубине бора путь преграждает снежный намет сажени в три высотой. Савватий взбирается на него, продолжает путь по снежному намету. Через сотню сажень бор кончается, снежный вал обрывается, местность

переходит в серо-бурую ковыльную степь, принимающую в себя ведущие из бора здоровенные волчьи следы.

На заимке, куда Савватий возвращается к восходу солнца, работники выгоняют овец и лошадей на обнажившееся из-под снега степное пастбище, у избы ждет его снаряженная в дорогу кошевка, а в избе — дымящиеся на столе пельмени.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Снова поют полозья, только не по дороге, а по остаткам ее. Большак, куда выбирают путники наши через некоторое время, уцелел, будучи хорошо накатанным, и теперь тянется с юго-востока на северо-запад к пристанскому городку Камень на Оби бесконечной, приподнятой над степью ледяной лентой; лента эта в низинах переметена застругами, но ехать по ней можно. Лошади, пофыркивая, бегут рысцей, перебираются в иных понижениях через порядочные переметы и снова бегут. Савватий блуждает взором по унылой, обездоленной ураганом, серо-бурой степи, переносит его с увала на увал, замечает в версте от дороги, что-то необычное: сугроб — не сугроб, заимка — не заимка.

— Погляди, Арсен! — обращается он к ямщику, показывая на странное скопление снега вдали. — Что бы это могло быть?

— Заметенные снегом кусты, отче, — отвечает безапелляционно тот.

Цыганок присоединяется к мнению ямщика.

— Боюсь, что не кусты, — говорит Савватий и велит сворачивать с дороги и ехать туда.

По мере приближения к сугробу, кусты начинают превращаться в заметенный снегом обоз. Подъезжают к нему. Из десятка лошадей, половина лежит, окостенев в оглоблях, другая держится на ногах, но являет жалкую картину.

Савватий велит спутникам распрягать оставшихся в живых лошадей и пускать пастись, а сам роется в снегу в поисках хозяев обоза. Один из них лежит у передних саней, прикрывшись смерзшейся пачкой сырых кож, которыми наполнен обоз. Он разгребает снег; лицо замерзшего белое, как снег, тело твер-

дое, как дерево. Оглядывается. В сотне саженей куст полыни, под ним что-то постороннее. Идет туда. Там второй возчик, еще молодой парень, вероятно сын первого.

Путник возвращается к обозу, думая, что и их участь была бы подобной, не послужи верой и правдой Буланка. Вокруг заметенного снегом обоза не только смерть, но и жизнь. Пущенные на волю лошади бродят по степи, разгребая копытами остатки снега, с жадностью грызут летошнюю траву.

Из смежной, никонианской деревни Овечкино, куда прибывают путники к обеду, отправляется к месту обоза сотский со вспомогательным отрядом.

Замерзло в буран этот по Алтайским степным дорогам с десятков человек.

В деревне Овечкино Савватий расстается с Цыганком и едет накануне Масленицы к родителям, в отстоящее отсюда верст на сорок родное Селение.

Едет он домой сначала перелесками — сосновыми, березовыми, осиновыми, — затем степью, в обход заболоченных мест. Степь за последние два дня снова оделась ослепительно белым покровом. Лошади бегут по припорошенной им дороге; пушистый след курится за кибиткой белым рукавом; девственно-кипенные просторы искрятся на морозном солнце мириадами негасимых огоньков. Дорога идет вокруг особо опасных болот, куда и зимой не сунешься. В бочагах тепловой процесс не прекращается круглый год; гниют старые травы, камыши, выделяя в процессе распада тепло; поверхность их обычно не скована льдом, а лишь затянута тонкой ледяной коркой и припорошена снегом.

Кони, хотя и вязнут в свежем пушистом покрове выше бабок, но бегут по дороге рысцой. Степь живет особой, свойственной только ей, жизнью. Район этот богат полевой живностью. Последний снег выпал только вчера, а сегодня расшит уже звериными следами, как подол модницы художественной мережкой. По степи катит на перерез дороги беляк; за ним меряет равнину царь ее, матерой волк. Зайцу труднее бежать, нежели волку, по рыхлому снегу, ибо ноги у него короче, чем у преследователя. Расстояние между ними сокращается с каждым скоком. Заяц видит, что не успеет дотянуться до виднеющегося в полуверсте густого ивняка, места спасения, круто поворачивает влево с тем, чтобы броситься к лошадям, проскочить между их ног, отсечь преследователя и тем выиграть время. Расчет не удастся. Волк не бежит следом за ним, а режет угол и в несколько прыжков насаждает на зайца в полусотне шагов от саней. Ямщик кричит на него, машет кнутом, лошади

не то испугавшись кнута, не то учуяв волка, рвут вперед и уносят седоков от заячьей трагедии.

— Язвило его! — ругается ямщик, сдерживая лошадей.
— Задрал зайчишку варнак-от эдакой!

— Много развелось их тут, как вижу я по следам, — замечает Савватий.

— Считаю — не считано; ни проедешь, ни пройдешь, не сустретив яво, варнака. Охота на них перевелась, потому, как шкура подешевела из-за расплотившейся романовской овцы. А тут еще стали входить в моду среди богатеев медвежьи шкуры на дохи, на пологи. Ну и не стало смыслу промышлять яво. И ен энтим пользуется. По осени то и дело зарежет то овцу, то теленка, а то и коровенку.

— А почто ж гоны перестали устраивать на них?

— Обратно скажу — из-за той же невыгоды. На гон надоть выставить десяток, а то и два лошадей, да отбить лопатки в скаку у нескольких из них, чтобы добыть волчью шкуру. А мужик-от пошел нынче тоже разумный, расчетливый. Гоночный зуд потеха, а лошадь — деньги.

В езде и чередовании одних дорожных событий за другими, солнце начинает клониться к горизонту, черпать край его, выставляя на ночь багрово-огненные сторожевые столбы.

— К морозу сие, — продолжает ямщик, тыча кнутом в направлении столбов этих, — к лютому. Ярится зима-от на весну-красну. Но ярись не ярись, а уступить дорогу ей надоть будет.

Начинает темнеть. Невдалеке от дороги мышиная норка в снегу. У нее сидит не шолохнет горноста́й, ждет появления в норке головы хозяйки ее. К нему подкрадывается между кустов лисица — тихо, осторожно. В норке раздается шорох. Горноста́й пружинится к прыжку, в предвидении сытного ужина. Но миг и черный хвостик его мотается в цепких зубах лисицы.

Куст бочажного лозняка. По нему порхает с ветки на ветку желтогрудая синичка; с нее не спускает немигающих глаз сидящая неподвижно на торчащем из снега пне белая сова. Синичка беззаботно перепрыгивает на последнюю ветку, чтобы юркнуть под куст на ночлег, ближе к болотному теплу, но вместо того попадает в мохнатые лапы совы.

Пока синичка порхала с ветки на ветку, а сова ждала приближения ее, за ними обоими зорко следил, притаившись тут же в бурой осоке хорек. И когда сова схватила синичку и пронзала тельце ее острыми когтями, в череп ее вонзаются иглистые зубы хорька. Миг и сова лежит на снегу, задрав лапы с трепещущей синичкой вверх, а хорек лакает выступающую из ран-

ки ее кровь.

Через дорогу летит впереди белая куропатка. Ее настигает филин. Куропатка ныряет с лету в пушистый снег. Филин тормозит лет, поворачивает, некоторое время кружится над местом, куда нырнула куропатка, но не найдя ничего, что бы выдавало ее, удаляется прочь поискать добычу в другом месте.

Это зимой. Летом же набираются здесь тучи перелетных птиц — уток, гусей, куликов, журавлей и даже лебедей. Район этот для гнездования их самый благоприятный. Непроходимые летом болота, озера тянутся верст на шестьдесят непрерывной полосой от деревни Овечкино до селения Степного. По болотам этим в летнюю пору, особенно в пору гнездования, не пройти, ни человеку, ни зверю. Природный заповедник здешний обилен, как водами, так и кормами: в первой половине лета травянисто-биологическими, во второй — зерновыми на прилегающих к болотам крестьянских посевах.

Надвинувшаяся на степь ночная темень скрывает от глаз человека наземную жизнь и рождает небесную.

Сторожевые огненные столбы на горизонте тухнут к тому времени, сопроводив дневное светило на ночной покой. Черное бархатистое небо усеивается крупными, средними, мелкими, но неизменно яркими звездами. Звезды эти виснут на небосводе, мерцают, как бы мигают друг другу, перешептываются. Одни из них появляются в одиночку, другие — семьями, третьи — сообществами, рассылая по загадочным небесным просторам бысролетных небесных вестников.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В'езжает Савватий в родную деревню поздно ночью. Кибитка долго плутает по кривым улкам и закоулкам чалдонской деревни, приближается к сосновому бору, нависающему над деревней исполинской тенью. В самой тени его большой на подклете деревянный дом с резными, выходящими на улицу наличниками, богатым двухсходным тоже резным крыльцом.

— К нему — велит Савватий.

Шаравино, а до писцовым книгам Чистоозерное, старинная

старообрядческая деревня на грани Кулундинского Бора и Кулундинской Степи. Предание гласит, что основана она Захарием Шаравой, доблестным казаком Ермака Тимофеевича.

Шарава этот, родом северянин, как и сам Ермак, хаживал у последнего в дальние погляды, по современному — разведки. Побывал он в качестве Ермакова есаула и сборщика ясака на Алтае, на Салаире, на Кузнецком Алатау, на Енисее, на Кулунде. Потом, когда узнал, что Ермак погиб, а дружина его частью ушла на Русь, частью — рассеялась, он остался там, где застало его известие о гибели атамана — на Кулунде, и основал тут на Чистых Озерах Турчас — дозорную вышку, и займку при ней.

Место это как нельзя лучше отвечало требованию русского форпоста на самом краю Западно-Сибирской Низменности. Во-первых, летом на него можно было попасть по узкой полосе только с востока. Ну, а зимой кто же станет пробираться сюда по беспредельным снегам с риском быть замеченным буранами. Сама же займка плотно укрывалась от них вынесенным в степь клочком Кулундинского Бора. Сибирского бича — комаров и гнуса — здесь не было, ибо по перешейку между Северным и Южным озерами постоянно тянул в летнюю пору ветерок.

Это одна сторона обстоятельства, приведшего к образованию в сем месте Захарием Шаравой займки — географическая. Экономическая же сторона дела обстояла и того лучше. Чистые Озера кишели рыбой, болота — непуганой дичью потребительского и промыслового значения. К озерам и болотам прилегали богатые травами луговые почвы, а чуть подальше в степь лежали черноземы, дававшие баснословные урожаи зерновых и бахчевых культур.

Привел с собой сюда Шарава десятка с два казаков, вооруженных диковинным по тому времени здесь оружием огненного боя. Большинство их перемерло неженатыми. Несколько же человек, в том числе и сам Шарава, добыли жен себе с Урала, нарожавшим им на благодарной местной почве немало детворы. Захарию Шараве уральская хозяйшюшка его подарила трех дочерей да семь сыновей, среди которых был и Ананий, давший начало семье Ананьевых, из которой вышел герой наш Савватий, в миру Ананий Ананьевич Ананьев.

В роду Ананьевых повелось так, что старший из сыновей получал имя Анания и наследовал, вместе с именем, дом отца и звание старшего в роду. К сему положению предназначался и наш Ананий. Но случилось по-иному. Не лежала у Анания нашего душа с детства к мирским делам, к расчету, к скопидом-

ству. Душа его жаждала не хозяйских забот, а чего-то иного, искала служения не семье, а миру, витала не в земных сферах, а в небесных. Случается в церкви службы, других детей родители неволят к посещению их, а Ананий сам бежит в часовню и не последним, а первым. И ищет утешения там не в перешептывании со сверстниками, не в переглядывании с девочками, а в созерцании службы, в постижении истины ее.

К одиннадцати-двенадцати годам он уже выучивает наизусть все правила церковного суточного обихода. Пошлют его бывало на ночное с лошадьми, едет он туда не как-нибудь, а с божественной книгой за пазухой. Остальные подростки озоруют в пути, а он псалмы распевает. На ночном сверстники костры жгут, скачут вокруг их козлами; Ананий же бродит по степи, божественные песни слагает. Потом, когда другие спят, он лежит на спине, созерцает бездонную глубину Божественного мироздания, красоту рассыпанных Творцом по нему небесных миров, изучает расположение их, всякую фигуру, всякий изгиб опоясывающего Землю Млечного Пути.

И при всем этом, рос он мальчиком сильным, рослым, даже могучим. Над странным поведением его некоторые озорники из сверстников и из старших пробовали бывало потешиться, но изведав на скулах своих железную крепость кулаков его, навсегда теряли охоту к этому, проникались уважением к нему.

С десяти лет Ананий начал прислуживать в часовне, а с четырнадцати — читать часы, Апостола да так, что стекла в часовне дребезжали от густого баса его.

В отце Бог послал Ананию не только владыку, но и чуткого человека. Усмотрев в старшем сыне своем стремление не к земному бытию, а к небесному, не стал он неволять его, и когда объезжал старообрядческую Кулунду новый игумен Катунского скита о. Досифей, отпустил с ним в скит первенца своего на служение не Земле, а Небу.

С тех пор Ананий прошел у старцев обители, под непосредственным руководством отца Досифея, духовную подготовку, необходимую светскую выучку, побывал на Иргизе, на Керженце, на Рогожском подворье, у австрийских братьев, в Святой Земле, в Константинополе и даже в Риме; не на скитские деньги, а на отцовские. При всем этом он много читал, как в обители, так и в пути, вчитывался в святоотеческие книги, манускрипты, постиг греческий, древнееврейский и латинский языки, немало думал. И в думах находил правильным транскрибировать имя Спасителя через одно «И», а не через два, ибо так находил он, древнееврейской фонетике, которая одна только и может быть судьей между старообрядцами и новообрядцами в деле транскрибирования имени Божественного Учителя, — не

свойственно удвоение звука «иод». И что правота старинного обряда в Богослужении на их, старообрядческой стороне, а не на стороне никониан, ибо старинные православные обряды складывались у церковных учителей египетских и сирийских, но отнюдь не византийских, времен падения Второго Рима и приспособления царьградских церковников под вкусы римских пап. «Следовательно, раскольниками являются не старообрядцы, а никониане» — приходил он к выводу.

Возвратился на Катунь Ананий Ананьев не Ананием, а иеромонахом Савватием, и поехал по Кулунде служить миру. А отцу его Ананию Ананьеву, довелось дать имя Анания самому младшему сыну, родившемуся уже тогда, когда старший Ананий перестал быть Ананием.

Отец Савватия дал жизнь не только двум Ананиям, но и еще пяти сыновьям и трем дочерям. Следующему за старшим Ананием, сыну Михаилу, страстно тяготевшему с детства к науке, дал он высшее образование, вывел в инженеры. И теперь Михаил Ананьев управляет Колыванско-воскресенской группой алтайских полиметаллических заводов. Третий сын Павел, врач по образованию, лечит земляков в уездном городе Барнауле, четвертый и пятый учатся в Москве, один на геолога, другой на юриста. Шестой и седьмой остаются дома и ведают торговыми и хозяйственными делами.

Трех дочерей и двух последних сыновей Ананий Ананьевич в науку на сторону не отдавал, а обучал дома — закону Божьему, чтению и письму не только церковному, но и гражданскому, цифири, истории, географии. Обучали их премудрости этой, сыновей — старообрядческий учитель, а дочерей — учительница. Последних сих тоже вывел он в люди: двух выдал замуж за гильдейских купцов в город Барнаул, третью — за дворянина, инспектора Екатеринбургского горного округа, однокашника брата ее Михаила. Правда, последняя сия живет не за старообрядцем, а за никонианином.

Хозяйство у Ананьева большое даже по Алтайским масштабам: три дома, два из которых на каменных фундаментах, со стульями, диванами, зеркалами, кроватями, изразцовыми печами, шторами, половиками внутри. Живут в них хозяин с супругой и оба сына. При домах этих магазинов, в котором продается все, что нужно деревне, вплоть до ставших входить в моду сельскохозяйственных машин.

Третий дом барачного типа занимают приказчики и работники из новоселов, тоже по старой вере люди.

Кроме домов, на усадьбе с десятком вместительных амбаров, столько же пригонов, с полдесятка колодцев, крупоруш-

ка, маслобойня, маслодельня с ледником при ней, две бани, одна из которых по белому, три ветряных мельницы на косогоре. Кроме того засекает Ананий Ананьев сотни десятин разных хлебов, держит больше сотни дойных коров, столько же лошадей.

Таков в общем Ананий Ананьевич Ананьев, обнимающий сейчас в одной из горниц приехавшего погостить сына.

Нелишне будет уделить внимание внешнему облику деревни Шаравиной.

Дворов в ней свыше трех сотен. Население ее занимается хлебопашеством, скотоводством. В то время, к которому относится повествование, процветала здесь и промысловая охота на горностая, хорька, лисицу.

Шаравино — деревня чисто старообрядческая. В нее никогда не заглядывал из-за изолированности болотами ни жандарм, ни полицейский чин вплоть до революции, поскольку уголовных деяний в ней не совершалось, законов не нарушалось, драк не происходило.

Над деревней этой возвышается небольшой мачтовых сосен бор, с подветренной стороны к нему лепятся в хаотическом беспорядке крестьянские дворы — один фронтом в одну сторону, другой — в другую, третий — в третью, и так далее. Пришел когда-то на это место есаул Ермака, привел с собой казаков, занял в удобном ему месте для сбора ясака заимку и зажил в ней с казаками в свое удовольствие пока не помер. А после смерти его сыновья стали делиться и селиться вокруг отцовского двора так, чтобы не стеснять друг друга, но быть в связи друг с другом. Потом сыновья первых сыновей делились в свою очередь и селились вокруг старых дворов, уплотняя поселение.

Потомство других казаков создавало другие селитьбенные кусты, слившиеся в конце концов в единую селитьбенную массу с лабиринтом кривых улиц, переулков, тупиков, разобравшихся в которых не так легко даже деревенскому обывателю.

Неразбериха касается общей планировки деревни. Нельзя сказать этого о застройке двора. Застройка его подчиняется закону целесообразности. Дом и вся усадьба ставится на возвышенном месте; огороды разбиваются в низинах. Пригоны рубятся в некотором отдалении от дома, но в таком, чтобы пространство между ними могло быть перекрыто крышей, образующей внутренний крытый двор.

Во дворе роется колодец на таком удалении от пригонов, чтобы последние не влияли на качество колодезной воды. Вода валегает здесь неглубоко из-за близости озер и поднимается деревянными журавлями.

Тип двора деревянный: деревянный в нем дом, деревянная крыша на нем, деревянные сваи, на которых стоит он, деревянные пригоны, кошары, телятники, курятники, амбары, бани, заборы, сани, телеги, бороны. Исключение составляют только плуги, жатки, сенокосилки. Но и они наполовину тоже деревянные. Деревянные в домах лавки, столы, кровати, полати, божницы, иконы, ложки, поварешки, миски, тарелки. В общем, древлянская культура не в учебнике, а наяву.

Тип дома — кубовидная или прямоугольная, рубленая клеть. В полном смысле рубленая, ибо Кулунда до середины девятнадцатого века, до появления здесь новоселов, пилы не знала и в деле рубки изб обходилась топором, долотом, скребком. Несложными инструментами этими плотник выполнял все строительные работы — от валки дерева, до поделки досок, исполнения тончайшей резьбы, которая и до сих пор чарует взор. Слово «доска» стало употребляться на Алтае лишь в двадцатом веке; до этого доски шаравинцы называли «тесом». Слово «тес» древнего происхождения, производное от глагола «тесать». И тесаные, а не пиленные доски, которыми покрыты здесь старые сооружения, лежат на них сотни лет, а не десятки, как более поздние, пиленные.

Квадратный или прямоугольный дом является тут, главным образом, одноэтажным сооружением с двухскатной крышей, обычно в три клетки. Это у только что выделившегося из семьи мужика. Затем, по мере умножения семьи и роста достатка, к дому делаются прирубы в две-три клетки. Имя клетки в Шаравинной носят не кладовки, а комнаты в отличие от прихожих. Кладовка же именуется подклетью.

Русская печь в таком доме помещается в прихожей, — в помещении размером значительно больше других. Вдоль стен прихожей идут тесаные лавки, в правом углу стоит стол, над ним возвышается божница с рядом писанных по дереву или чеканенных на меди икон, висит лампадка; в углу у входа — медный рукомойник, полотенце, под рукомойником — лохань.

Назначение прихожей — прием приходящих, приготовление пищи, отправвление функций столовой, рабочей комнаты, детской спальни (на полатах). Здесь же ведущая в голбец под'емная ляда, ставец для светца, ткацкий верстак.

Клеть или горница, называется у шаровинцев еще и «чистой», и обогревается либо выходящей в нее боком из прихожей русской печкой, либо «грубой», подобием известной в старом городском быту «голландки». В чистых комнатах принимают гостей, угощают их. Оборудованы они теми же столами, лавками, божницами, кроватями, нередко и буфетами.

Амбары, хранилища основного семейного достояния — хлеба, рубятся в некотором удалении от дома, на случай пожара. Конструкция их — двухскатная крыша, коридорная система. По коридору идут направо-налево закрома для зерна. Вверху — потолочный настил, на котором хранится всякая ценная всячина.

Рядом с амбаром — навес для сельскохозяйственных машин, сезонного транспортного инвентаря.

На задах хозяйственного двора — баня, неременный член всякого сибирского жилого обзаведения. Без бани, как и без полатей, в Шаравино не ставится ни один двор.

Очерк наш шаравинского двора был бы не полным, ежели бы мы не упомянули о скворешницах. Их возвышается над здешним двором на высоких шестах штуки три-четыре, да о поленницах рубленых дров, тянувшихся обычно вдоль стен пригонов, под широкими навесами.

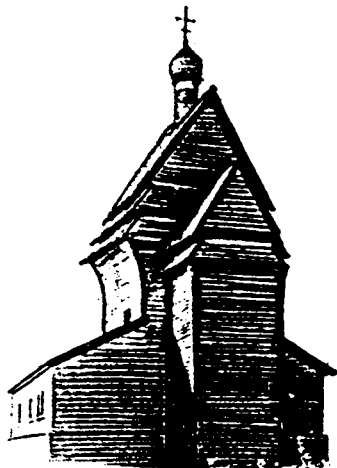
Сплошных старообрядческих деревень остается на Кулунде не столь уж много. Шаравино в числе немногих этих; пребывает она еще в изначальной старообрядческой чистоте, мало общаясь со смежными никонианского толка деревнями. Исключение составляет в этом одна семья Ананьевых.

Отец Савватий ходил и ездил до сих пор по Кулунде с опаской, ждал, что вот встретится урядник и спросит: «Кто таков есть?» В Шаравино он этого не боится. Шаравино официальное старообрядческое селение, с официальной церковью, с официальным настоятелем в ней, отцом Савватием и тоже с официальным вторым священником, отцом Поликарпом, престарелым дядей его по матери.

Стоит здешняя церковь или моленная, как чаще именуют ее, на возвышенном месте, на фоне бора. Архитектура ее — кубовидной формы клеть под высокой двухскатной крышей. На коньке крыши конусообразный восьмигранник, небольшой барабан с посаженной на нем чешуйчатой, луковидной формы главкой. Верх луковицы венчает осиновый стройный крест. С восточной стороны к срубу прирублена алтарная апсида в форме граненого полукружия, венчаемая крошечной главкой с таким же крестиком наверху. Вход в часовню через прирубленную с запада небольшую паперть с двухскатной крышей, с крестом на ней.

Размеры старообрядческих церквей велено сибирскими властями еще в восемнадцатом веке рубить на длину «единой слуги». Шаравинцы, не нарушая правила, срубили лет полтора-ста назад, когда обветшала: старая, новую часовню на «единую слугу», да такую, что размеры моленной получились не менее пятидесяти аршин в любую сторону, не считая приру-

Бор под алтарь и паперть. Надобно же было, как-то вмещать набожных шаравиццев на богослужения, ежели не всех, то хотя бы по одному человеку от двора.



Отец Савватий выходит на восходе солнца следующего по приезде дня в черной суконной на хорьковом меху рясе, в монашеском клобуке и идет по деревне. Снег поскрипывает под валенками. На южных скатах крыши висят ледяные натеки, первые вестники приближения весны. Морозы стоят по ночам, все же, еще лютые.

В безлюдье, по случаю раннего часа, выходит он на окраину деревни. Из-за снежного горизонта показывается лик солнца. Савватий оборачивается. Лучи денницы касаются вершин Бора. Сосны его раздражают от ударяющего в них света, пробуждаются от ночного покая, золотятся. В следующий миг загорается блеском окристаллизовавшаяся поверхность деревянного креста на часовне, осиновая чешуя на маковке главы, барабан ее, крыша. Потом золотятся замшавелые венцы сруба, сначала верхние, затем и нижние. Проходит еще миг и начинает золотиться вся древланская стихия, с ее срубами, крышами, частоколами, колодезными журавлями, скворешницами.

Возвращается Савватий в деревню, смотрит на нее, на совершенство хаоса, и думает, что самый искусный архитектор не создал бы того, что создала стихия во времени.

Из избы крайнего двора выходит, подпоясываясь на ходу кушаком посадник, узнает Савватия, кланяется, просит благословения. Через несколько минут подходит он к часовне. В архитектуре ее совершенство пропорций, покой, задушевность, эдическая простота.

На паперти встречает его о. Поликарп, ктитор. подносит хлеб соль. Проходит какое-то время и в часовне начинается богослужение.

Стены ее расписаны снизу доверху, плоский потолок подбит «небом», четырехярусный иконостас светится ликами Богочеловека, Богоматери, архангелов и ангелов, апостолов и евангелистов, пророков и отцов церкви в изображениях иконописцев рогожских, иргизских, соловецких.

Множественность художественных школ не создает обычного композиционного единства. Это, однако, только при отсутствии единства мышления у мастеров. У старообрядцев же, при идейном единстве, можно перемещать иконы из одного храма в другой и они не будут диссонировать, ежели, разумеется, будут подходить по размеру. Вновь внесенные иконы могут быть написаны либо лучше, либо хуже, но они будут одинаково с другими радовать взор зрящего, утешать душу жаждущего.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мясоед близится к концу. Капель с крыш учащается, ледяные сталактиты удлиняются, иногда встречаются со сталагмитами, образуя причудливые колонны, переливающиеся по утрам на солнце удивительными красками. За капелью настает масленица — русский Содом и Гоморра.

Масленицу эту русский человек любит; сибиряк же — в особенности вкладывает в отправление ее душу. Это — в прошлом. А как в настоящем?

В настоящем той деревни, которая была в Сибири еще полсотни лет назад, уже нету и в помине. Не справляется, разумеется, и таких маслениц, как справлялись раньше. Поэтому, описания наши, хотя и ведутся в настоящем времени, но относятся не к теперешней деревне, а к стародавней, как и все повествование сие. Итак, старая русская масленица!

В кулундинских деревнях материальные возможности позволяют крестьянам держать выездных лошадей. Обычно это жеребец. Содержится он в станке — небольшом сарайчике — отчего и именуется станковым. На нем не работают. Назначение его, как-то разнообразить монотонную деревенскую жизнь, давать возможность крестьянину покататься по селу, показаться людям, с'ездить к дружку, иногда за сотню верст, и в одну запряжку.

Поездки эти совершаются, однако, не часто и станковые жеребцы стоят в «станках», отменно кормятся чистятся и всячески холятся. По одному выездному жеребцу, наезженному под рысак в упряжке, держит всякий шаравинец. Более же зажиточные присовокупляют к нему пристяжку, обычно мерина, ибо два жеребца не уживаются в одной упряжке. Богатые же дворы обзаводятся выездными тройками, преимущественно одной масти, справляют богатую, украшенную серебряной насечкой сбрую, расписную дугу, залихватские бубенцы, санки на железных копылях с подрезами, медвежий полог. Непременно — медвежий. Едет за медвежьей шкурой верст за триста в непроходимую тайгу, рискует жизнью, но непременно добывает ее. Не покупает, а добывает.

Стоящую в станке лошадь долго держать без движения нельзя, падает на ноги. И тогда сотенный жеребец превратится в рублевую шкуру. А чтобы этого не случилось, проезжают их раз в неделю, обычно в воскресенье, во второй половине дня.

Выедет собственник такого жеребца или тройки, даст крюку верст пять, вгонит лошадь или лошадей в мыло, выдержит их на морозе на выстойке часа два-три и снова на неделю в станок. И жеребец избыл в гоньбе накопившуюся энергию, и хозяин почувствовал себя на часок-другой не мужиком, а богатырем сибирским.

Но особенно отрывается он душою от мизерного деревенского бытия на масленицу. Начинает чувствоваться она здесь с понедельника Сыропустной седмицы. Однако, первые два-три дня седмицы сей по ярмарочной площади, местотправления масленицы, носятся верхами на лошадях пока что одни мальчишки лет восьми-десяти. С четверга пристают к ним пареньки постарше. В пятницу выезжают станки. В субботу, и особенно в Прощеное воскресенье, провожать зиму и встречать весну выбирается на ярмарочную площадь всякий шаравинец, старый и малый, мужчины и женщины. Выездных лошадей двор держит, как говорилось, по достатку, от одного до трех. А женатых сыновей живет в ином дворе по несколько,

пока жив отец. И одних выездных лошадей для братьев большого двора, разумеется, недостает. На этот случай подкармливают загодя несколько рабочих коней. Непременно коней, а не кобыл. На кобыле никто и никуда выехать не смеет. Деревня засмеет.

Наступает, наконец, Прощеное воскресенье. Батюшка отправляет в этот день Литургию пораньше, ибо знает, что затяни он ее и из церкви разойдутся до окончания службы все до единого. Даже и ктитор, и причетник. И его самого ноги вынесут из храма и усадят в сани так, что заметит он это только тогда, когда очутится на площади среди масленичного бедлама.

Но вот и десять часов утра. Служба в церкви к этому времени отходит. На площади появляются верховые мальчишки, одинокие сани. По проселочной дороге отправляются в заезд верст на двадцать «бегуны»-лошади тоже нерабочие, а беговые — скакуны, рысаки; особенной же славой пользуются в этом деле иноходцы. Бегунов набирается десятка два; на них мадры лет двенадцати-тринадцати, приблизительно одинакового роста и веса. Половина судей едет в заезд, запустить там бегунцов; другая остается на месте, чтобы встретить их. Но встреча произойдет еще не скоро и мы оставим бегунцов и обратимся к масленикам.

Набирается их на площади, длиной с полверсты, к тому времени порядочно. Но пока что не гоняют они лошадей, а разминают по кругу — по часовой стрелке, посолонь, а не напротив, как никониане. С течением времени ритм движения убыстряется, кое-где пристяжные несутся уже вскачь, где-то раздается песня, треньканье балалайки, на ближайших санях ударяет бубен. Лошадь под мальчиком лет десяти шарахается в сторону, седок ее летит вместе с потником в снег, встает, смотрит, как задрав хвост трубой, лошадь уносится домой, начинает распускать нюни. Ему кричат: «Убирайся с дороги! Расшибут!»

С примыкающего к площади переулка выносятся тройка серых в яблоко лошадей. На облучке русский бородач — брат Савватия. В резных санках с медвежьим пологом, жена его в парчовой душегрее, в узорчатой шали, из-под которой виднеется соболья шапочка, горят огнем карие лучистые глаза; рядом с нею дочери в шитых бисером кокошниках; старшей из них лет тринадцать. Выезд сопровождают два мальчика верхом на лошадях.

Из того же переулка выносятся новая тройка. От резкого поворота сани ее — на бок, седоки и спутницы их в снег. Ям-

щик некоторое время волочится на вожжах, потом обрывается. Тройка круто поворачивает в соседний переулочек, ударяет кошевкой об угол избы, щеки от нее летят в стороны, и она скрывается с глаз.

На смену ей врывается на площадь тройка карачовых коней. На облучке молодец с едва пробивающейся светлой бородкой. На нем бобровая шапка, на плечах старинный охабень. В санках чернобровая красавица, видимо высватанная минувшим мясоедом жена в парчовом узорочье. Гик, свист — и коренной вытягивает ноги, пристяжные избоченивают головы, несутся вскачь, косматые гривы их мотаются сверху вниз, хвосты, отдуваемые током воздуха, стоят трубой. Седок сидит на облучке, в красном кушаке, с засученными ветром рукавами, в шапке с малиновым верхом набекрень.

«Разойдись Русь старообрядческая!» — говорит поза его. — «И дай дорогу Ивану царевичу, уносящему красавицу от злодея кощея!»

Время уже часа два. Солнце сегодня впервые не только светит, но и греет; снег от тепла его, и от трения полозьев, перебора конских копыт, превращается в жидкое месиво...

Но вот с соседней сосны раздается рожок, доносится голос дозорного:

— Бегут, бегут!

Масленица подтачивается к проселочной дороге. Женщины и дети выбираются из саней, взбегают на сугробы. Лишенные возможности оставить лошадей мужчины поднимаются на ноги в санях, обращают взор туда, откуда ожидаются бегунцы. Но их не видать еще. Наконец, на гребне заснеженной гривы показывается черная точка, за нею другая, третья...

Проходит еще какое-то время и, переваливаясь с боку на бок, вытянув в одну линию голову и хвост, врывается на площадь, как дьявол в чистилище, косматый, горбатый, сухопарый, мухортый иноходец. С него еще на бегу соскакивает малец, бросает повод хозяину; тот подхватывает его, ведет иноходца в проводку. Мальца встречают десятки рук, орут «ура!», подбрасывают в воздух, потом суют конфеты, пряники, хозяину четверть искристой медовухи, которая тут же идет вкруговую.

Вторым приходит через несколько минут буланый рысак, третьим рыжий скакун. Характерная деталь. Иноходец приходит сухим и раз-другой тяжело вздохнув, успокаивается. Рысак и скакун прибывают в мыле, с раздутыми, налитыми кровью ноздрями, с ходящими ходенем боками.

За бегами на далекое расстояние, начинаются бега на короткие дистанции, как верховых, так и в упряжках, вкруговую

по озеру. Справлять масленицу на озерах уездными властями запрещено после того, как где-то под тяжестью массы саней и от ударной силы движения, лед обломился и несколько упряжек ушло под него. Группами же в десяток саней появляться на озерах под надзором деревенской полиции не возбраняется.

И самые ярые ездоки направляют бег лошадей своих с площади через пропускной пункт сотского на озеро. И вогнав там лошадей в мыло, едут домой, запрягают в санки новых скакунов, продолжают гоньбу.

Длится гоньба эта до тех пор, пока батюшка не спохватится и не пошлет причетника звонить в колокол, призывать в церковь к покаянию.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Живительная весна — повсеместно желанная пора. В Сибири же она просто вожделенна: шесть месяцев стужи, сугробов снега, стеснительных одежд... И вдруг — теплый ветерок, ласковое лазурное небо, особая суетливость синиц...

В один из таких дней в Шаравино появляется Цыганок. Пока бродил он в прошлом году, вместе с Савватием, по алтайским дорогам, многострадальная супруга его, Богу душу отдала. Никогда прежде не болела и вдруг померла. Смерть ее потрясает беспутного супруга в такой степени, что он решает постричься в чернецы.

— Ты?... В чернецы?... — удивляется Савватий, выслушав его.

— А что! Рази служить Богу заказано мне?

— Вестимо, не заказано. Токмо, как служить? Утром Богу молиться, а ввечеру трепака драть, за бабами волочиться?

— Баста, отче! Что было, в том каюсь. Алена, помирая, наказала остепениться. И вот тебе, отче, крест, а Господу Богу обет: ни пить, ни плясать больше ни, ни!

— А к бабам ходить?

— И к бабам — то ж.

Малость повременив, продолжает:

— Дак как же, отче?

— Что, как?

— Ну чтоб в чернецы постричься?

— Время покажет как. Действительно покаешься, действительно остепенишься — будешь пострижен. И не токмо в чернецы, но и в дьякона. А до того — прости, брат. Монашество не рукавичка: захотел — надел, надоела — сбросил.

Через неделю повалил с неба густой снег, покрыв Кулундинскую Степь новым аршинным покровом. Потом, подул с юга теплый ветер, пригрело солнце и Кулунда начала интенсивно таять; талые воды ее потекли в балки, разрушая саниные дороги, превращая степь в непроезжее и непрохожее состояние. Из балок воды подались в озера, перекрывая перешейки, превращая отдельные озера в сплошное водное пространство.

Воды набирается в прилегающем к Шаравино Чистом Озере на три аршина выше ординара, чего раньше даже старики не припомнят. Прихожане обивают пороги отцу Савватию с просьбами спеть молебен, поднять находящийся в часовне вывезенный из Устюга Великого Захарием Шаравой список чудотворной иконы Одигитрии Устюжская, ибо ежели снег будет таять так дружно, как сейчас, а зажоры в реку Кулунду не откроются, то деревне к ночи не миновать потопа.

И вот несется густой бас о. Савватия, бархатный баритон Сисоя, старческий тенорок о. Поликарпа в вопле: Царю Небесный, колышатся по кривым улицам старинные хоругви, горят на солнце животворящие кресты, сверкает камнями, переливается жемчугами оклад Одигитрии Устюжская.

Вопль к Царю Небесному духовенства сменяется тысячестным воплем деревни: «Пресвятая Богородица спаси нас!»

Шаравинцы идут всей деревней и поют, поют и идут, шлепая по талой воде, потом бредя по ней. Когда вода достигает колен, останавливаются. Отец Савватий поднимает вверх чудотворный образ, осеняет им подступающие к деревне воды, присутствующие поют едиными усты: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Особо неистовые падают при этом коленями в воду.

На глазах у молящихся ветер меняется, начинает дуть не с юго-запада, а с северо-востока, гнать воды не на деревню, а в сторону от нее, напирать на зажоры, прорывать их. Напор озерных вод на деревню ослабевает, идет на убыль, к вечеру слякоть сковывается морозом.

Проходят два-три дня. Ветер принимается снова дуть с юго-запада, солнце греть по весеннему, снег дружно таять. Но сейчас зажоры в Кулунду открыты и наводнения не предвидится. Потом мороз снова сковывает степь. Так маятник пого-

ды качается от зимы к весне, от весны к зиме всю вторую и третью недели Великого Поста; на четвертую теплый весенний ветер дует всю седмицу, лижет сугробы снега особенно настойчиво, продирая кое-где на белых одеждах зимы бурые прорехи весны; прорехи эти ширятся, растут, превращаются в поля. Кажется еще напор и от зимы останутся одни суровые воспоминания.

Но нет! Зима еще раз вырывается из объятий весны, обрушивается на нее могучим бураном, замечает все следы ее.

На пятую неделю животворящие силы весны крепнут и в смертельной схватке с зимой кладут ее на обе лопатки, умерщвляют и остатки сгоняют балками в озера, а оттуда — системой болот и сухих русел, рек — в Кулундинское Озеро, бессточный бассейн Кулундинской Степи.

По мере борьбы творческих сил природы с мертвящими, жаворонки то появляются над степью, то гибнут, застигнутые жестокой пургой. Но наконец мертвящие силы, истощив энергию, уходят вслед за зимой, ветер просушивает почву, солнце пробуждает к жизни травы, деревья и жаворонки снова повисают в воздухе, славя Того, Кто ниспослал на землю тепло.

За жаворонками появляются и заселяют озера и болота дикие утки, гуси, лебеди, на сухих прогалинах поселяются журавли. В какое-то утро наполняют деревню звонким пением скворцы.

К концу пасхальной недели Цыганок напоминает Савватию, что пора бы уже было и в путь отправиться.

— Рано еще, — отвечает тот. — Установится вот погода, тогда и тронемся.

— Какой же тебе, отче, надобно погоды, когда ласточка сидит вон под застрехой?

— Одна ласточка погоды не делает, — отвечает наставник.

Цыганок уходит от Савватия с изображением досады на лице. Цыганской натуре его не сидится на месте, особенно весной, когда все в движении.

Направляясь в следующий раз к отцу Савватию, мечтает он о сани. Не вообще, а о сани диакона. Не священника и даже не игумена, а именно диакона. Ну что, ежели был бы он священником! Ничего. Другое дело — диаконом. Тут, приняв на великом выходе в руки свои святые дары, пойдет он медленно, потрясая прихожан возгласом: «Благочестивейшего и благовернейшего Государя нашего»... Да за один единственный возглас сей, ежели бы его допустили произнести ему, он готов был бы отдать остаток жизни.

А чтение Евангелия! Выходит он, как представляется, с Евангелием в руках. Прислужник торопливо ставит в Царских

Вратах аналой, он кладет на него Евангелие, раскрывает его, откидывает величественным жестом муаровую ленту-прокладку и начинает: «Во время оно»... Стекла в храме дребезжат, прихожане на колени падают, настоятель и все присутствующие в алтаре внемлют, а он продолжает: «В начале бе слово и слово бе к Богу, и Бог бе слово».

Что это значит он не понимает. Да это и не важно. Важно то, что звучит оно внушительно. И еще важно то, что прихожане, не понимая слов этих, о нем думают, что ему все сие понятно.

— Так то вот! — произносит он вслух, переступая порог клетки о. Савватия.

— Что речешь? — спрашивает тот, глядя в растворенное впервые в этом году окно, в которое врывается теплый воздух, голосистая тирада скворца.

— Реку, отче, что ласточка прилетела не одна, — выворачивается лукавый цыган. — Чать вишь?

Савватий и без того видит, как под застрехой напротив окна прилепилась за выступ бревна ласточка и кладет носиком на него первый лепок грязи в фундамент будущего гнезда; товарка сменяет ее, прилаживает рядом с первым комочком второй. Он так же видит, что деревня, кроме старых да малых, выезжает на пахоту. И ей теперь не до церкви; надобно успеть пораньше отсеяться. Лето на Кулунде хотя и жаркое, но короткое; каких-нибудь три месяца. Успеет хлеб — основа благоденствия крестьянского — вызреть до сентября, а люди свалить его с корня, зерно получится полноценное; не успеет — мороз побьет его на корню и тогда никакой скупщик не возьмет зерна этого и даром.

Все это Савватий видит, но ему как-то не хочется покидать отчего дома, расставаться с отцом, с матерью, может быть навсегда. Правда, отец у него еще здоров и крепко держит обширное хозяйство с десятком внуков и внучек, не считая тех, что в городах, с полутора десятком приказчиков да работников. Но мать уже слаба и ему вряд ли доведется свидеться с нею вновь.

Кроме жалости к матери, ему в этом году как-то особенно становится не по себе при мысли об отходе.

«Это, думает он, вероятно оттого, что старею и дела житейские ставлю превыше божеских».

При этой мысли, он решительно встряхивает головой и обращается к Цыганку:

— Сисой!

— Азм есте.

— Сей день по вечеру споем напутственный молебен.

— О коем часе?

— О седьмом. Упреди о. Поликарпа.

Вечером косые лучи солнца врываются в окна часовни, золотят тесаный, бурый от времени пол, солею, иконостасные образа. Молебен правит о. Поликарп. В часовне, кроме него да Савватия с отцом, матерью и Сисоем, никого другого нету. Отец его, Ананий Ананьевич, старик высокого роста, сильного сложения, стоит прямо; на нем длиннополая черная поддевка, ~~вяж~~кие покупного товара сапоги, темнобордовая косоворотка до колен, на голове светлые, еще без седины, подрезанные вкружок волосы. Овал лица его, выражение голубых глаз, постановка головы и весь прочий облик — точно воплощены в старшем сыне его. Ежели кто встретит их из незнакомых, непременно подумает, что это родственники. И никогда не скажет, что отец с сыном. До того моложав старший из них.

Нельзя сказать этого о матери. Мать в черном сатиновом, ~~поясанном~~ у подбородка платке, в черной же кофте, в рясной до пола такой же юбке, небольшого роста, хилая, желтая, сморщенная — стоит и концом ~~платка~~ вытирает слезы; когда же о. Поликарп возглашает мирное и благоспешное странствие рабу Твоему иеромонаху и отцу нашему благочинному Савватию и спутнику его, рабу Божию Сисою, подаждь Господи! — опускается на колени и истекает слезами.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На следующий день путники той же тропой, что и прошлым летом, шагают через степь. Достигнув Касмалинского Бара, они не идут вдоль него, как прежде, а пересекают его, затем — Барнаульский Бор, реку Алей и плетутся по горнорудному району, где брат Савватия, Михаил, управляет казенными полиметаллическими заводами.

С братом этим они погодки, росли и учились дома до двенадцатилетнего возраста вместе. Но прошло уже четверть века, как Михаил окончил институт и пошел служить в Министерство Торговли и Промышленности по ведомству казенных заводов, а они за это время не виделись ни разу. И Савватия страстно тянет сейчас повидаться с ним.

На сей раз в дороге они не задерживаются, иногда падают под дожди, угодили даже как-то под пал, когда горела весной прошлогодняя степная трава, но до завода, на котором брат держит резиденцию, добираются благополучно в середине июня.

Брат его успел войти уже к тому времени в немалые чины, приобрести личное дворянство. Кроме того, ожидает рескрипта на всеподданнейшее представление Петербургского Губернского Предводителя дворянства о даровании ему и детям его потомственного дворянства. Встречает он его, брата своего, в богато обставленной гостиной казенного дворца, окруженный прибывшими на каникулы сыновьями — гимназистами, студентами, дочерьми — институтками, слугами и подслугами.

Вечером остаются они в кабинете одни. Не виделись четверть века, а говорить, когда остались с глазу на глаз, оказывается не о чем. Время и бытие сделали их людьми разного круга и мышления. И даже эпохи. Савватий, в миру Ананий, остался, как был: простоватым, но умным сибирским мужиком; притом, живущим во второй половине девятнадцатого века, а мыслящим категориями восемнадцатого и даже семнадцатого столетия.

Что ж, возникает вопрос — следствие это отсталости?

Нет, не отсталости, а прозрения того, что страна, и не только страна, но и весь мир, ступает, вернее толкают его, на ложный, гибельный по его мнению, путь.

Михаила жизнь обратила из мужика в промышленника, готового все и вся подчинять интересам индустриального развития страны. Усадив брата своего в кресло, сам он помещается на стуле. Говорят сначала о том о сем, потом хозяин направляет разговор в желательной ему плоскости.

— Ты, Ананий, — извини, что называю тебя прежним именем, — говорит Михаил, продолжая диалог, — защищаешь праотеческий путь бытия с точки зрения богослова, соблюдения чистоты праотеческих риз. Но ежели отклониться чуток в сторону от риз этих и взглянуть на дело глазами не теоретика, а практика, то тут дело выйдет в ином свете. Деревню окажется выгоднее не тянуть назад.

— Да кто же тянет ее назад? — замечает Савватий.

— Ну держать ее в консервации, за Китайской Стеной. А это все едино, что тянуть назад, ибо что не движется вперед, то движется назад, потому что неподвижного в природе, как известно, ничего нету. И России надобно не топтаться на месте, а двигаться вперед. Ты же бывал в Европе и видал экономические достижения ее. Насколько она опередила нас. По

крайней мере лет на триста. А до татарщины Русь ничуть не отставала от нее. Шла с нею нога в ногу, поставляла королям ее да герцогам жен, изделия промышленности, умельцев, живописные произведения. Не знаю, заходил ли ты в Лувр, когда проезжал через Францию, а я заходил в него пятнадцатью годами после тебя и видал там список с Владимирской Богоматери древнего письма и другие подражания русскому иконописанию времен Рублева. И это неудивительно, ибо Боттичели родился в 1444 году, Рафаэль — в 1483, а Андрея Рублева Русь дала миру в 1360 году, на четыре поколения раньше. И нетрудно догадаться откуда заимствовал Боттичелли краски при создании иконы «Распятия Иисуса Христа?» С Троицы Андрея Рублева.

— Жаль, — произносит Савватий, — что не позаимствовали они в наших староверческих деревнях, наряду с красками, правила обращения с чужой собственностью. При переезде границы между весьма передовыми странами — Францией и Италией — я поставил ручной саквояжик на стул. И не успел смежить глаз, как саквояжик исчез. А в наших староверческих деревнях до сих пор слава Богу не знают, что такое замок.

— Сие верно, но абстрактно. Оторвемся от высоких сфер и обратимся к более низким и куда более близким государственному бытию нашему. Европа достигла того рубежа в развитии своем, с которого может начать творить не весьма желательные для нас дела. Возьмем к примеру Пруссию, ближайшего западного соседа нашего. В твою бытность в Европе была она небольшим крепостническим государством. А пятнадцать лет спустя, в бытность мою в Европе, Пруссия, вобрав в себя мелкие графства и герцогства с немецким населением, стала сильной промышленной державой, возродившей древнюю германскую империю, а с нею и древний германский клич: «Дранг нах остен!» Проезжая по Германии и знакомясь с жизнью ее, я не мог не видеть сколь бурно развивается в ней промышленность. А что, в случае войны, противопоставит Германии Россия?

— То, что противопоставила наполеоновской Франции — патриотический дух. Мы с тобою, как-то незаметно ушли в сторону от того, с чего начали разговор — сохранение старообрядчества.

— Сошел разговор наш с положения старообрядчества на положение России, потому что тема сохранения его, на мой взгляд, беспочвенна. И не только беспочвенна, но еще и реакционна. А то, что реакционно, то подвержено тлению, отмиранию, саморазложению.

— Саморазложению? Отмиранию?

— Да. Ничто не вечно. Все рождается, развивается, стареет, умирает. Помрет когда-либо и старообрядчество, ежели не будет давать обществу ничего нового. Таков неумолимый закон жизни.

Разговор велся на эту тему долго и в более острой форме.

Савватий вышел из кабинета брата обескураженным. «А может быть брат прав?» — рассуждал он, возвращаясь в комнату свою. — «Может быть я политический и исторический невежда, многого не понимаю, поклоняюсь созданному воображением фетишу? Может быть в одно время проснись, а фетиш приказал долго жить, рассыпался в прах, лопнул, как мыльный пузырь?»

Его бросает в жар при этой мысли. Ударом кулака растворяет он дверь на балкон, выходит на него. На дворе ночь. Где-то справа вспыхивают временами огни медеплавильных печей. Но тишина вокруг немая. Вверху темное безбрежное небо. На нем мириады ярких звезд. На востоке выплывает из-за зубчатого горизонта луна. Небо светлеет, звезды меркнут и из близких делаются далекими. Лунный свет трепещет в полутьме, луна взбирается на небосклон, тени от разбросанных по парку деревьев укорачиваются, склоны гор золотятся, за садом раздается пение петуха.

Савватий вздрагивает. Голову его пронизывает мысль о евангельском пении петуха. Он бросается на колени, вздымает руки к небу, в экстазе шепчет:

— Предал, предал! Петел, как и в Евангелии, не пропел, а я отрекся от святоотеческой веры! Прости Господи, и очисти душу мою, яко согреших Тебе! Отжени от мене всякого врага и супостата, наипаче во образе братне!

Из того же сада поет петух снова. Савватий приходит в себя, опускает руки, озирается. На глаза попадает ползущая по небу луна. Лик ее настраивает мысли его на иной лад. «Месяц и звезды», шепчет он, «движутся по небу миллиарды лет; вероятно, те пять миллиардов, которые отцы церкви, учитывая развитие первобытного христианина, собственника рыбацкой лодки, либо сотни овец, численное мышление которого не переходило за грань тысячи единиц, — превратили пять миллиардов лет в пять тысяч, чтобы легче было понять это пастуху. И будут двигаться они, луна и звезды, впредь столько времени, сколько написано об этом в Книге Судеб. Вероятно вечно, как вечен и Сам Господь Бог. И поскольку Господь Бог вечен и бесконечен, бесконечна и жизнь, в виде ли здешней или потусторонней, но бесконечна. А равно бесконечна вера в Бога, как равно вечен и атрибут ее, созданный отцами церкви, а не никонианами, обряд. «Господи!» восклицает он снова: «Настави, вразуми брата моего по плоти, отжени от него дьявола, изба-

ви душу его от гибели вечная!»

Очистив душу свою покаянием, омыв ее слезами, Савватий поднимается, проходит в комнату и решает не задерживаться здесь надолго. Отслужить завтра, поскольку обещал брату, воскресную службу и марш в скит, подальше от соблазнов мирских.

На литургии присутствуют домашние брата, несколько семей подчиненных его, хотя и не старообрядцев. Отправляется она в зале. В конце ее о. Савватий говорит поучение на тему о блудном сыне. Очнувшись после вчерашнего грехопадения, потрясает он души слушателей неумолимым выводом: ежели человек прикоснется хотя бы краем одежды своей к нечистоте, то и вся одежда его сделается нечистой. А ежели он нечестьем своим дерзнет опачкать одного из ближних, то такому человеку лучше было бы не родиться.

На обеде, данном Михаилом Ананьевым заводскому персоналу, сидящий рядом с ним Савватий заявил брату, что завтра собирается в путь-дорогу свою.

— А может повременишь еще? — отвечает брат в угрызении совести за вчерашнее поведение.

Разговор этот мучил его всю ночь. Он даже сон видел на тему о возмездии за соблазн брата. Будто черти привесили ему на шею жернов мельничный, отнесли его с жерновом на шее на мерзких крыльях своих на заводской пруд и бросили там в воду.

— Исповедал бы меня завтра, — продолжает он. — Причастил бы.

Савватий глядит в лицо брата, думая, что тот шутит. Но глаза у него серьезные и даже скорбные.

В понедельник, после покаяния и причащения, братья сидят в комнате Савватия и ведут беседу о положении скита.

— Да, да! — Соглашается Михаил. — Скит надобно не забрасывать, а укреплять. Тебе сколько-нибудь дал на него отец?

— Две тысячи.

— Я приготовил пять, — продолжает Михаил, передавая брату пачку ассигнаций.

Скрипит дверь. В кабинет просовывается фигура в ливрее, в белых нитяных перчатках и зорко окидывает взглядом Савватия, когда тот прячет в котомку деньги.

— Тебе чего?! — прикрикивает на него хозяин.

— По вашему зову, Михаил Ананьевич.

— Никто тебя не звал. Пшел вон! Да скажи дворецкому, чтобы рассчитал тебя с завтрашнего дня. Получишь жалованье за месяц вперед. И прогонные до Петербурга.

Человек скрывается за дверь, сверкнув глазами.

— Что так сурово? — спрашивает Савватий.

— Препротивный тип. Лезет куда не просят. С тех пор, как служит у меня, все, что происходит в доме, делается достоянием жандармерии.

— Кто же он таков?

— Камердинер. Англичанин, служивший здесь инженером, рекомендовал петербургское отрепье это, уезжая на родину. Ты решительно не желаешь оставаться у меня дольше?

— Не могу. Пока доберусь до скита, осень настанет. Да и отец Досифей слаб.

— Я доставлю тебя в три дня туда. На тройке своей.

— Не уговаривай. Тройки не мое средство передвижения в летнюю пору. Да и надобность имею, прежде, нежели осесть в ските, побывать еще кое-где. Обойти, например, горнорудный район твой, который я всегда миновал из-за ложного предложения.

И вот плетется он, в сопровождении спутника Сисоя, по копиям и заводам горного Алтая и приходит к выводу, что движется горный Алтай ускоренным шагом по пути безнравственности. С открытием ряда заводов, нахлынуло сюда с Урала много мастеровщины с ее кабаками, сквернословием, разнузданностью.

Мастеровщина эта не особенно обременяет о. Савватия трудами. И он идет себе да идет по горам и долам промыслового района. Минует Змеиногорск, Верхубинку, Ульбу, Зыряновку. Путь этот оказывается, однако, не праздным. Среди мастеровых, выходцев с Урала, находится немало лиц старообрядческого происхождения, еще не совсем утративших тяготение к нему. И даже среди низовой заводской администрации. С некоторыми из них Савватию удастся войти в контакт, создать в ряде бесцерковных рабочих поселков старообрядческие братства. Особенно удачно получилось это у него в Зыряновке, давшей ему в братство свыше полусотни человек.

Взбираясь теперь на последний перевал уже не раз хоженной тропой, думает он, как придет в скит, выделит и пошлет в рабочий район нужного человека с книгами, иконами, наставлениями по налаживанию жизни в созданных молельных избах.

Лето уже кончалось. Наступал сентябрь. Шествовать этою порой по склону хребта Листвяга составляет для Савватия особую прелесть. Летом лес здесь хмурый, осенью как бы оживает, зацветает красками, пестрит оттенками, благоухает собственными только одной осени ароматами.



Проходит Савватий в этот день на под'ем с поклажей на плечах больше двадцати верст, но усталости не чувствует. Душа в нем горит, ликует, вбирает в себя и краски леса, и золотые вечерние лучи солнца, и аромат воздуха, и бархатную синеву проглядывающего между ветвей неба.

Впереди показывается охотничья изба, в которой ночевали они прошлой осенью. Из нее вырывается собака, за нею выходит человек мастерового вида с ружьем в руках, потом второй, третий; последним появляется камердинер брата, рассчитанный им прежде. Собака остервенело бросается на пришельцев, но при виде здоровенных палиц в руках у них, отступает. Камердинер выдвигается на передний план, говорит:

— Ну, батя, вынимай казну и клади ее по добру по здорovu на землю.

Савватий оценивает положение, во мгновение ока бросается в заросли, Цыганок за ним. Следует выстрел. Крупного калибра жекан впивается впереди Савватия в лиственницу, собака хватается его за шаровары; могучим ударом ноги в бок отбрасывает он ее в сторону; лай стихает. Савватий продирается сквозь чашу, Цыганок следует за ним.

Впереди лужайка. Беглецы пересекают ее, углубляются в лес. Позади снова доносится лай пса, голоса преследующих. Впереди еще одна прогалина. Убегающие поворачивают налево, пес пересекает путь, за ним показываются преследователи. Савватий выскакивает на прогалину, следует новый выстрел, пуля впивается в берцовую кость ему, он достигает леса, снимает котомку, с шен — дары и передает Сисою со словами: «Я задержу их здесь, а ты доставь все в скит, сдай полностью. Боже оборони утатить что; буду являться с того света. Бросай свою котомку, с моею уходи!»

— Погибать так вкупе, в любе... — начал было Цыганок.

— Делай, что велю. Марш в сторону!



Цыганок хватает котомку Савватия, скрывается за деревьями. Последний продолжает путь прямо. Нога у него деревенеет, кровь наполняет сапог, переливает через голенище, собака стервенеет, преследователи на некоторое время задерживаются над котомкой Цыганка, потом голоса их приближаются, собака рвет Савватия за ляжку и валится на землю с раздробленным черепом.

На новой прогалине следует еще выстрел. Савватий спотыкается, опускается на колени, вздевает руки к небу, поляну наполняет густой раскатистый бас в ирмосе: «Ужаснися небо и да подвижатся основания земли»...

От нового выстрела Савватий вздрагивает, но продолжает стоять на коленях с воздетыми руками и петь: «Не рыдай мене, Мати, зряща во гроби».

Тот, который стрелял, выпускает ружье из рук, бледнеет, валится на землю. А Савватий продолжает: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи: и мене древом крестным просвети и спаси мя».

Камердинер обходит Савватия, поднимает оброненную им палицу, заходит сзади и ударяет ею стратотерпца по голове. Тот подается вперед, падает ниц с распростертыми руками.



Э П И Л О Г

Разбойники, убедившись, что на убитом ими человеке нету ничего, кроме медного креста на изрешеченном пулями теле, бросаются в поиски за Цыганком в лес, догадавшись, что деньги унес он. Но лишившись собаки, лишились нюха. А без нюха искать человека в лесу, все едино, что иголку в сене. Уходящему дорога одна, а преследующему сотни.

Расставаясь с Савватием, Цыганок успел заметить сквозь древесную редицу гибель пса. Остановившись он хотел было возвратиться к наставнику, но когда на поляну вышли разбой-

ники и один из них выстрелил в Савватия, Цыганок понял, что спасения для него нету и что его собственное спасение будет зависеть от быстроты ног. И он бежит. Бежит не к перевалу, которого разбойники, действующие налегке, достигнут прежде, нежели он, а в обход перевала, продираясь сквозь густые заросли.

К закату солнца зона зарослей кончается, начинаются луга, выше которых виднеются скалы, обрывы. Беглец останавливается у последнего кустарника, оглядывается. Ни впереди, ни сзади никого не видно. Но кустарник, маяча среди логовины, может привлечь внимание разбойников, ежели они появятся здесь. Цыганок ползет на четвереньках среди высокого клеверника прочь от кустарника. На пути скрытая в клевернике яма. Устраивается в ней так, чтобы видеть окрестности и в то же время не выделяться из травы. Появляется чувство не то голода, не то тошноты. Снимает котомку. Основной запас еды остался в его котомке; здесь же только неприкосновенный запас аварийного зелья. Хлебнув его несколько глотков, снова оглядывается. Разбойников не видать по-прежнему. Прислоняется к обрыву ямы и уплывает в небытие.

Просыпается от холода. Темнота. Голова трещит, как арбуз спелый. Поднимается. Куда идти сообразить не может. Озирает небо, находит Воз. По нему ориентируется и в пространстве и во времени. Проспал он недолго: часа два-три. Вылазит из ямы и идет так, чтобы Воз оставался слева и несколько позади. Идет и оглядывается. Восток как будто бы светлеет. Да — светлеет, через некоторое время всходит луна. В свете ее обрисовывается зубчатая спина хребта. Вглядывается в него. До него верст пять. Та вон седловина, соображает, беспрерывно самый тот перевал, через который идет тропа, и ее надобно обойти слева, ибо справа такие кручи, что не приведи Бог, ночью убиться можно.

Круто поворачивает налево и идет наперерез тропе. Через некоторое время под ногами злополучная тропа. Пересекает ее и шагает параллельно ей на таком удалении, чтобы не быть видимым с нее. Начинаются скалы, обрывы. Вскорабкивается на них, спускается в буераки.

Проходит часа четыре-пять тяжелого пути, в течение которых Цыганок прикладывает к аварийной фляжке несколько раз, но так, чтобы не охмелеть, а лишь силы набраться. Со склонов одной из скал показывается на расстоянии полуверсты, что-то похожее на охотничью землянку, в которой ночевал в прошлом году. Залегает, осматривается, соображает, лезет в карман за фляжкой для прояснения мозгов, но она уже

пуста. Швыряет ее в сторону, соображает всухую. Разбойников четверо. Ежели двое поджидают его у самой землянки, то по одному будут находиться по сторонам тропы на сотню-две саженей от нее. Отсюда до землянки сажен триста. Надобно быть особенно осторожным. Поднимает взор, находит Воз. Время близится к рассвету. Следует поспешить, уйти пока не ободняло подальше от западни. Глядит на землянку и ползет. Рядом с нею блеснул огонек. «Не попритчилось ли энто?» думает. Долго смотрел на Воз. Ну одна из зорек и привиделась.

— С нами крестная сила! — шепчет и истово крестится.

Снова блеснул огонь. «А! — прикуривает, поджидая меня. Ну ты кури, а я поползу в обход того вон камня.»

Осняет себя снова крестом и ползет, цепляясь за выступы скалы. Руки саднит. Колени тоже, голова кружится, но не от выпитого зелья, а от чего-то другого. Землянка то показывается из-за скал, то заслоняется ими. В каком-то месте она становится в одну линию с ним. Потом начинает оставаться позади. А Цыганок ползет и ползет с утеса на утес. Землянки уже давно не видать, а он ползет. Руки у него сочатся кровью, а он продвигается вперед и шепчет в полузабытье: «Донеси до скита и сдай все полностью». Трогает это «все», рукой. На месте оно, за спиной.

В какую-то пору под ноги попадается тропа, он поднимается на ноги, инстинктивно поворачивает налево и идет вниз. Местами не идет, а бежит и шепчет:

— Донеси до скита и сдай все полностью!

Каким путем прибрел он в скит окровавленный, оборванный, но с котомкой за плечами, одному Богу известно. Доставив же ее и сказав отцу Келарю, что отец Савватий убит разбойниками у нижней охотничьей избы, повалился без чувств и пролежал в постели в жестокой горячке две недели.

Беда не одинока. Игумен о. Досифей, получив известие об участии любимейшего воспитанника своего и заступника по сану, как сидел на диванчике, когда оповещал отец Келарь о печальном событии, так и повалился мертвым на пол.

Собирается совет старцев. Перед ним стоят два дела — замещение должности игумена и убийство наместника его о. Савватия. Нового игумена до истечения сорока дней со смерти о. Досифея совет решает не избирать, а назначить временный Скитской Попечительный Совет старцев во главе с отцом Келарем. Но что ж делать со смертью о. Савватия? Доводить о ней до сведения властей нельзя. Пойдет следствие, докопаются до скита, закроют его. Решают скоренько доставить тело его в скит, с честью похоронить, как упавшего со скалы и погибшего.

Так и поступают. Через три дня обоих игуменов хоронят под церковью.

Проходит два года со дня смерти игуменов. Новоизбранный и возведенный в сан игумена келарь ведет дело управления обителью так, что скоро восстанавливает против себя старцев, низведших его решением своим со стола. При избрании нового игумена требуют участия все монашествующие обители. А так как в таком новшестве им отказывает совет старцев, возникает недовольство, падает послушание.

Кроме того, со смертью отцов Досифея и Савватия обрывается связь с рядом купеческих и вообще богатых старообрядческих семейств, щедро финансировавших обитель.

Избранный вместо келаря игуменом отец казначей вынужден неповиновением монашествующих и трудников отказаться от должности еще до возведения его в сан архимандрита.

Вероятно в наказание обители за беспорядки, молния зажигает скитской храм. И так как в ту пору стояла сухая погода и бушевал ураган, то пока полил дождь успели сгореть дотла сам храм, трапезная, игуменское подворье, библиотека, ряд келий.

В довершение всех бед, один из участников убийства о. Савватия, попавшись в другом тяжчайшем разбое и получив виселицу, чтобы отдалить день расплаты за злодеяние, сознается в убийстве о. Савватия.

Начинается следствие. Старцам удается утаить осведомленность свою об истинном положении со смертью Савватия и тем избежать ответственности за сокрытие преступления, но скрыть местонахождения скита было не в их силах.

В скит наезжают следственные власти, требуют устав обители. Устав монастырские власти представляют, но на нем не оказывается пометы об утверждении его правящим архиереем.

Таким образом дело обители докатывается до Томского владыки; последний сей из'являет согласие на утверждение устава скита в видах сохранения полезного христианского учреждения, не выговаривая при этом никаких прав для себя. Но скитские фанатики не желают входить в какие бы то ни было сношения с представителями никонианской церкви.

Внутренняя организационная скитская сторона дела принимает, наряду с внешней, тоже скверные формы: скитские трудники, находившиеся прежде в лучшем материальном и правовом положении, нежели работники у богатых крестьян, с ухудшением положения в ските, покидают его, расходятся на работы по деревням.

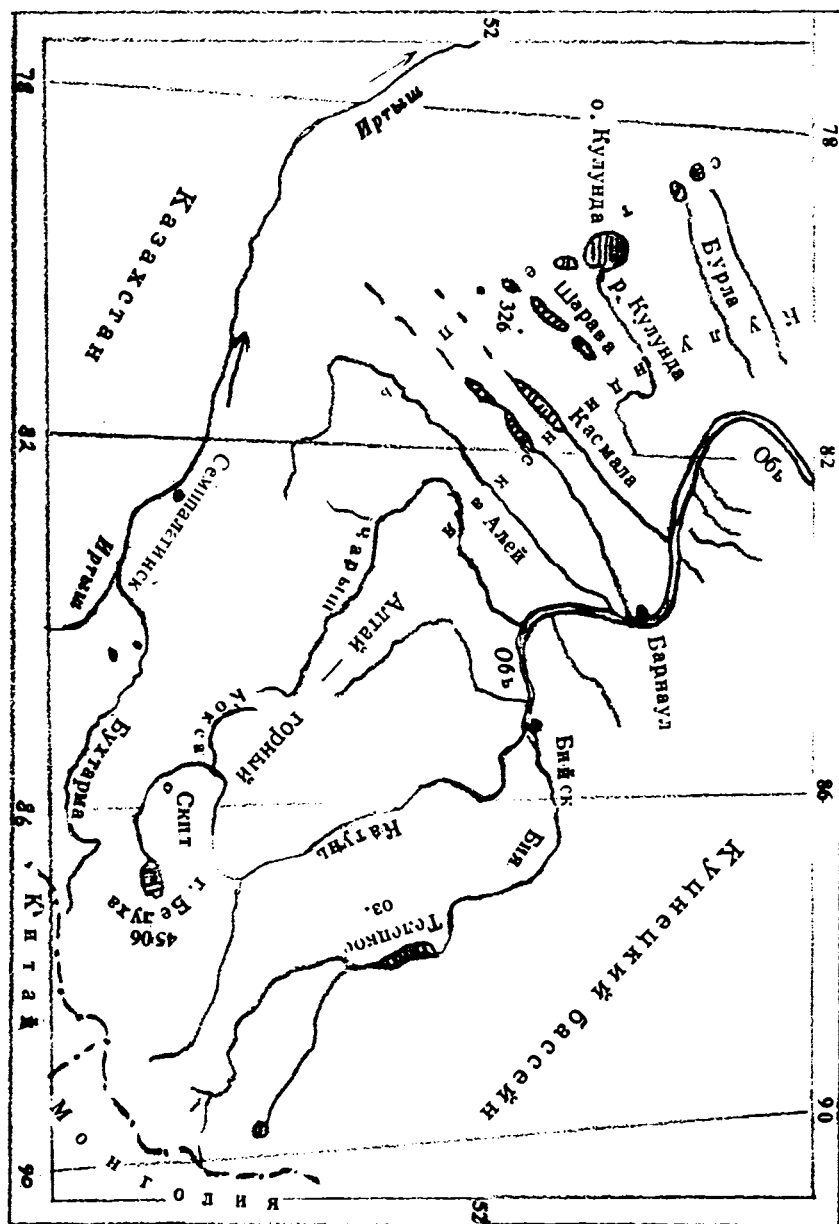
Монашествующие на скитских хозяйственных фермах, отстоящих от скита на 30-40 верст, об'являют себя независи-

ми от обители скитами, не подчиняются игумену.

Очутившись без поступления денег и продуктов, обитель начинает голодать. Учеников скитских разбирают для своих нужд семипалатинские и барнаульские купцы, старцы какие помирают, какие разбредаются по ближайшим богатым мужикам, доглядывать пасеки. А монахи скитских хозяйств объявляют их самостоятельными хозяйствами, ссорятся между собой и иные делятся, обзаводятся семьями, а иные доживают век бобылями.

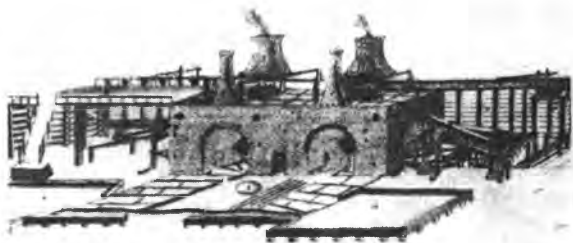


Тип алтайского старообрядческого строения середины XIX столетия.





**Образцы металлургических и транспорт-
ных средств того времени по МСЭ.**



Доменный цех. Азварель В. де Геннина.



Царевосельская железная дорога. Литография. 1837.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Березовая дубрава	19-а
Тип старообрядца	37-а
Рисунок: Протопоп (протоиерей) Аввакум у горящего костра, на котором он будет сожжен	70-а
Буйный ковыль	77-а
Старообрядческий скит. Эскиз	90-а
Заснеженный лес	97-а
Оленье стадо	101-а
Маралы в неволе	103-а
Б е с ы	127-а
Отчий дом	144-а
Металлургические и транспортные средства производства и передвижения	158-а
Схематическая карта Алтая	168

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	4
Глава 1. Отец Савватий. Дорогами детства . . .	7
Глава 2. Дубрава	14
Глава 3. Гроза	19
Глава 4. Кулундинской тропой	25
Глава 5. Этюды ротмистра фон Перетц . . .	37
Глава 6. Деревня Обиенная	43
Глава 7. Смолукурья	61
Глава 8. Хоровод	63
Глава 9. Старообрядчество. Протопоп Аввакум .	67
Глава 10. Путевые заметки	75
Глава 11. Галактион Турбин	78
Глава 12. Иртыш-река.	81
Глава 13. Южный Алтай	83
Глава 14. Хребет Листвяга.	87
Глава 15. Старообрядческий Скит	90
Глава 16. Маральей тропой	98
Глава 17. Освященный Совет	105
Глава 18. Горно-Алтайскими дорогами	109
Глава 19. Старообрядческие обычаи	115
Глава 20. Б у р а н	125
Глава 21. Сибирская заимка	131
Глава 22. Степные этюды	136
Глава 23. Поселение Ермакова есаула Шаравы .	139
Глава 24. Масленица-Широкая	147
Глава 25. Весна-красна	151
Глава 26. Скорбный путь	155
Э п и л о г	163
Эскиз карты Алтая	168
Перечен: иллюстраций	169
Оглавление	170

Русское Национальное
Издательство и Типография
Владимира Азар.



Напечатано в Русском Национальном
Издательстве «Глобус»
Globus Publishers 332 Balboa Str. P. O. Box 27471
San Francisco, CA 94127. Tel. (415) 668-4723



GLOBUS PUBLISHERS

ISBN 0-88669-062-5